

**П. Н. Краснов**

**От  
Двуглавого Орла  
к  
красному знамени**

ТОМ IV

**FROM THE TWO-HEADED EAGLE  
TO THE RED FLAG  
1894-1921**

**BY  
P. N. KRASNOFF**

**In Four Volumes**

**Vol. IV**

**PART SEVEN**

**Published by All-Slavic Publishing House, Inc.  
New York  
1971**



**ОТ ДВУГЛАВОГО ОРЛА  
К КРАСНОМУ ЗНАМЕНИ  
1894-1921**

★  
★  
Все книги издания Всеславянского Издательства  
выходят при благосклонном участии и поддержке  
князя С. С. Белосельского-Велозерского  
★  
★

**ТОМ IV**

**ЧАСТЬ СЕДЬМАЯ**



## ЧАСТЬ СЕДЬМАЯ

### I.

Широко раскинулась по-над Доном станица казачья. Белые мазанки, соломенными шапками крытые точно стадо гусей разбежались вдоль берега обрывистого, уемистого, желтыми песками расцвеченного. Уперлись столбиками рундучков в самый край обрыва и смотрят стеклянными очами, как метет по тихому Дону, по широкому займищу, ветер степной снеговые метели. А кругом них сады. Голыми ветвями стремятся к синему небу яблони черные, вишня тем-  
**но лиловые и вся облепленная старыми черными стручками** белая акация. Машут кому то ветвями из за плетней и дощатых заборцев, точно кличут кого: — „эй, станичник, нас не забывай!“... Улица широким проспектом протянулась вдоль Дона. Станешь посередине и туда и сюда упирается она в степь безконечную, безкрайную, робкими миражами покрытую. Дома стали неровно. Где гордо выпятились вперед, где укрылись в садовую гущу, точно девушки спрятались за полог древесный, где и вовсе попрятались за сараями, клунями и банями. Станичный магазейн выпер на самую середину и гордо уперся белыми столбочками из кривого карагача слаженными в большие камни. От Дона вглубь степи, где ровными проспектами, широкими и скучными,

где улочками кривыми, разбегающимися между садов переулочками побежали к степи улицы. На площади одиноко стало красное, двухэтажное, многооконное здание и важно глядит на приземистые домики, попрятавшиеся в садах. Каменное крыльцо утонуло в грязи и над высокою темною дверью висит синяя вывеска золотыми буквами говорящая, что это четырех классное станичное училище, иждивением станицы в благодарную память незабвенного Императора Александра III устроенное. Посередине станицы, против спуска к плашкоутному мосту, снятому теперь по случаю зимы и где тянется по снегу и льду санями наезженная дорога, отступая **на площадь высится красный кирпичный станичный собор** о пяти главах под серебряными куполами. Возле него сад из сиреней, жасминов и высоких пирамидальных тополей, заключенный в деревянную, местами обвалившуюся решетчатую ограду, протянутую между кирпичных столбов с медными шарами. Кругом площади, как старухи нищия, опираясь на свои костыли, вытянулись галдарейками окруженные лавки станичные. Возле запертых дверей по узким балкончикам развалились плуги ярко крашенные, бочки керосиновые, ящики, колеса и другой тяжелый товар деревенский.

**Широкие улицы заплели жирною черноземною грязью.** Она доходит до ступицы колес, блестит на солнце, тянется под ветром и не понять, как не уплыли по ней к самому Дону белые домики с пестрыми ставнями и не повалились высокие тополи и кривые плетни. Вдоль домов и плетней **натоптана узкая — двоим не разойтись — тропинка.** Там через большую лужу перекинута скользкая узкая, грязью затоптанная дощечка, там кто то приладил мостки горбатые и перилые протянул, а там и вовсе нет ничего и прохожие бредут по плетню, цепляясь руками за длинные шаткие колья.

Чья то телега застряла посреди улицы, утонувши глубоко в грязи. Беспомощно торчит из нее дышло с висящими воловьими ярмами и точно всем видом своим говорит она: — „ничаво! видать, погодить придется“...

Свиньи целым стадом стали вдоль забора, уперлись розовыми, белой щетиной обросшими боками, в скользкие прохладные колья, подставили грязью залепленные пятнистые спины и животы под солнце и застыли, тупо глядя на землю и поблескивая маленькими черными глазками. Свинья-что! Ей теперь в мокроту передзимнюю самое раздолье.

— Кыш вы! — замахиваясь длинной палкой кричит на них седобородый казак, прочищая среди них себе дорогу по узкой тропинке. — Я вас, прокляты... их!

Молодцоватый казак в новой форменной шинели без погон, при шашке и винтовке, на рослом видном рыжем коне с закрученным и завязанным хвостом, утопая по колено лошади в грязи бодрым шагом, далеко разбрасывая липкие брызги обгоняет старика.

— Садись, дедушка, подвезу!. — кричит он, скаля зубы.

— Ну тя к лешему. Не зубоскаль, обормот!, — замахиваясь на него палкой говорит старик.

— Джигитни, старина, покажи гвардейскую развязку, — не унимается казак.

— Олухи! Хронтовики! Дезертиры, — ворчит старик разгоняя свиней.

— А то на борова, деда, садись. Ишь боров здсровый? Ничего, что без седла — довезеть.

— Пошел к дьяволу, — кричит старик. — Управы на вас нет.

— И то с ним. Пра садись. Опоздаешь, слышь благовесть то!

С синего неба, разливаясь по громадной станице, по широкой темной степи, кое где блестящей изумрудом озимей, по Дону, прижавшемся к крутому песчаному обрыву, по виноградным садам, по разливу, поросшему корявыми ветлами и камышами, несется частый, надоедливый перезвон тяжелого медного колокола.

Сполох гудит по станице, сзывая старого и малого, сзывая баб и детей к станичному храму на майдан послушать, что будут говорить приезжие из Новочеркасска люди.

В солнечном дрожащем мареве под бледнеющим над степью небом ярко всеми шестью золотыми куполами горит белый Новочеркасский Собор, стоящий на крутом земляном утесе. Точно мечта воплощенная в белом камне и покрытая золотом, точно дума казачья, горделивая, весть о высокой культуре, о красоте, о любви и прощении, навис он над степью и далеко виден сверкающий всеми ярко горящими головами. Между ним и станицей на двадцать с лишним верст залегла широкая долина Дона, поросшая бурой травой, камышами, да широкими раскидистыми ивами и дубами.

По грязным улицам станицы, гуськом, цепляясь за заборы и тыны, по дощатым, залитым грязью, скользким настилам все в одном направлении, к собору, идут женщины в шубках и платках с широкими белыми лицами, темными соболиными бровями и румяными щеками, сытые, сдобные и приветливые. С белых, точно точеных из слоновой кости зубов, слетает шелуха семечек, подсолнечных и тыквенных. На многих надеты дорогие лисьи шубы, крытые сукном, бархатом или плюшем. Казаки, кто в шубе, кто в форменной шинели, одни в погонах, с крестами и медалями, при шашках, в черных прекрасного курпея с алыми суконными верхами папах, другие без погон, в серых папах, с ободранными крестами, в шинелях небрежно надетых и не подпоясанных, с широкими наглыми лицами, молодецкими ватагами подходят к площади мощеной грубыми каменными плитами. У самой паперти, опираясь на длинную толстую трость с серебряным в виде яблока набалдашником с двуглавым императорским орлом на нем, стоит в офицерском пальто и погонах, чернобородый хорунжий из простых казаков, станичный атаман. Около него столпились почетные граждане станицы. Стоит в голубой атаманской фуражке старый с голым лисьим лицом Лукьянов в меховой дорогого меха шубе, стоит в низенкой, старой, измятой армейской папаче, в старой шинели с крестами и медалями за Турецкую войну, весь сморщенный, с клочковатой седой бородой Пятницков, стоят несколько офицеров в белых погонах, штатский с седыми усами в судейской фуражке, сзади них жмутся станичные

барышни местной интеллигенции, а левее темная толпа казаков и казачек, папахи серые и черные, шинели и шубы, чекмени и теплушки, платки и шляпки, гимназические пальто и серые шубки станичной молодежи.

И над всею этою толпою, разливаясь в свежем, пахнущем морозом январском воздухе, густо гудит медный колокол, заглушая отдельные голоса, заглушая гомон толпы и смех молодежи.

Сполох несется над Доном.

## II.

На самой окраине станицы, там, где она тремя улицами, все понижаясь домами и вишнёвыми садами, убежала в безпредельную степь, совсем на отшибе, в густом саду с расставленными по нему колодами ульев, стоит маленькая, точно вросшая в черную землю мазанка, крытая лохматою соломенною шапкой — это дом дедушки Архипова. Архипову более семидесяти лет. Он Скобелева хорошо помнит, в Крыму под Севастополем был и мало мало самого Наполеона не захватил. Он хранитель старых песен и заветов казачьих, он прорицатель и ворожей, ему открыты тайны библии и Апокалипсиса и он все точно знает, что было и будет. Газет он не читает, среди людей не бывает, на станичный сход не ходит, горлопанов, что горло дерут и речами заливаются, не жалует, с попом и атаманом не дружит — с первым потому, что сам он по старой вере живет и славится, как начетчик, со вторым — потому, что распустил казаков, воровство развел и старыми боевыми играми казачьими не занимает казаков.

К нему, по вечерам, ходят молодницы поспросать будет ли толк от жениха, к нему ходят недужные, изверившиеся в докторях и лекарствах, к нему ходит и сам станичный атаман советоваться по разным делам.

Он живет вдвоем с правнуком Петушком. Петушку четырнадцатый год, он учится в гимназии. Петушок круглый сирота — отца убили в Восточной Пруссии, а мать с горя

померла. Петушком прозвал мальчика дед за его звонкий голос, да за добрый веселый характер. Дед Архипов лошадь держит для Петушка и заботливо из скудных сбережений готовит его стать настоящим казаком.

Архипов стар, но крепок. Он всегда одет в синие шаровары с широким алым лампасом, в мягкие черные сапоги, по стариковски стоптанные, в просторный синий чекмень — в праздники усеянный орденами и медалями, в серую свитку и папаху черного барана. У Архипова в избе чисто подметено, пахнет мятой и полынью и сам он сидит в углу под образами и его желтое морщинистое лицо с седыми длинными волосами и бородою, узкою и благообразною, его тонкий нос и темные глаза кажутся тоже похожими на икону.

Густой гул медного колокола доносится мягкими волнами и заставляет тихо звенеть стекла маленькой горницы. Сполах долетает до окраины станицы и широко несется по степи. — Но он не трогает Архипова. Он и так бы не пошел туда, где станичные горлопаны будут говорить „пусты речи и слова“, а теперь мешают ему неожиданные, Бог весть откуда взявшиеся, Богом посланные гости.

Их трое. Два молодых человека и девушка. Все хорошо, по господски, одетые, но страшно измученные и голодные. Пришли они глухою ночью, часов около двух, как с неба свалились. Едва дошли. Они говорили слабыми голосами и голод глядел из больших, ясных и чистых глаз. Два брата и сестра.

Старик не допрашивал их, кто они и откуда. Открыл на настойчивый стук дощатую дверь и впустил их из глухой с сияющими большими звездами, тихой, безпредельной, пахнувшей землею степи.

— Спаси вас Христос! — сказал он тихо и засветив жестяную лампочку, зорко всмотрелся в шатающихся, как тени, людей.

Он разбудил спавшего в соседней горнице Петушка, приказал принести меда, хлеба пшеничного и молока и поставил перед гостями.

— Кушайте на здоровье, — сказал он.

— Мы, дедушка, — начал было старший, — не воры, не разбойники, позволь переночевать, мы можем и бумаги наши показать.., но старик перебил его.

— Разве я спрашиваю, кто вы, — сказал он. — Христос, значит, послал. Голодны вы, крова нету над вами, ну, значит, и накормим и отдохайте и живите сколько надо. Слава Богу, найдется.

В комнату Петушка натаскали мягкой соломы и душистого степового сена, барышню устроили на постели Петушка, а молодых людей на полу и они, наевшись, заснули крепким сном.

Уже давно гудит сполох по станице, а прохожие люди все еще спят. Петушок поседлал своего бурого мерина и поехал на площадь узнать в чем дело, старик приготовил гостям кислого молока, хлеба, яиц, наставил самовар и ждет, когда они проснутся.

Первым вышел молодой человек. Ему было лет двадцать. Красивое, без бороды и усов лицо его было исхудалое и покрытое медным загаром, который дает зимняя стужа, ночлеги в поле и степной холодный ветер. Он уселся за стол и стал хозяйничать, поглядывая на старика.

— Что, — сказал, наконец, старик, -- воевать что-ль пришел?

-- Воевать, дедушка -- охотно отозвался молодой человек.

— А ты знаешь, сколько еще воевать то осталось?

— Ну, верно, меньше чем было. К концу надо думать дело идет.

— К концу, протянул старик... — Ты послушай, что старые люди говорят, что степь матушка по ночам гудёт, да старым людям, которые речь ее понимают, сказывает.

— Говори, дедушка, я слушаю.

— Так... — протянул старик, придвинулся ближе к столу, за которым сидел молодой человек, налил ему стакан бледного деревенского чая, пододвинул ломоть хлеба и начал: — хочешь верь, хочешь по ветру пусти, потому за речь мою

не плачено. А только так оно было, так и сбудется. потому что это от Господа Бога сказано. В тысяча девятьсот четырнадцатом году, значит, заключил наш император Николай Второй Александрович с немецким королем Вильгельмом войну на десять лет. Взмолился Вильгельм, нельзя ли, значит, покороче. - - „Придет”, говорит, „земля моя в разорение от такой долгой войны и не победить мне тогда — никогда” — „Ну ладно”. — говорит Николай Александрович. — „будем с тобой воевать пять лет. Четыре года полностью, а пятый на успокоение, но как мой народ такой, что его ежели он развоюется остановить никак не возможно, то еще пять лет буду я воевать сам с собою, пока вся Россия не погибнет”. И спросил, значит, Вильгельм, почему наш Государь погибели желает народу своему. И открыл Николай Александрович Библию перед Вильгельмом и указал на то место, где писано про Содом и Гоморру. — „Забыл”, — сказал он, — „народ мой Господа Бога, забыл меня, своего Государя, перестал любить любовью христианскою ближнего и не стало на Руси честных людей и через то назначено народу Русскому очищение огнем и мечом”. Все, кто Царя предавал — погибли от руки злодеев, все, кто противу царства шел и веру христианскую поносил погибли и будут рассеяны по чужим землям. И срок и предел мучениям Русского народа показан. Муки показаны до тысячи девятьсот двадцать первого года, перелом будет. Храмы наполнятся, враги станут друзьями. И будет тысяча девятьсот двадцать второй год лютее всех годов. Казачьи кости будут разбросаны по всему свету Божьему и будут такие, что на море погибнут. А Петербургу в тот год быть пусту. В тысяча — девятьсот двадцать третьем году загорится звезда над землею — та звезда будет обозначать начало. И крест над святым храмом Константина над Софиею мудрою православный повиснет, и турки будут за одно с Русскими и кончатся войны на востоке. Враг начертает на всем звезду, и молот и серп под нею. И звезда вознесется на небо, а „м о л о т - с е р п” обратно прочтутся и тем конец будет. И будет, тогда цар-

ствование счастливое Михаила — а царствованию тому предел осьмнадцать лет.

Из горницы выглянула девушка. Прелестное лицо ее горело от ветра, мороза, солнца, утомления и крепкого сна.

— Ну как, Оля, спала? — спросил ее молодой человек.

— Отлично, Ника. Здравствуйте, дедушка, — сказала девушка.

— Спаси Христос. Сестра что-ли будет?

— Сестра, сестра — сказала девушка.

— Видать, сходствие большое есть. Ну, спаси Христос.

— Дедушка, а почему звонят так? Разве праздник сегодня?

— И, родная. Какой праздник! Брат на брата идет!

— Что же и здесь большевики? — спросил Ника.

— А ты погодь, — сказал серьезно старик. Вот Петушок, правнук мой, разведку сделает, на чем постаноят, погоди и посмотрим чего вам делать? Может, еще у меня поживете, я схороню вас. Вы что-ж — Русские будете? Анадьсь в Каменской полковника Фарафонова свои же люди убили, генерал туда прислан, не то Семенов, не то Сетраков, или как там, едва убежал — хорошо камышами спасся... Да... На станции Себрякова казаки офицеров убили... Да... хорошо это? А ведь вы... и спрашивать никому не надо — видать сразу, офицеры. Российские солдаты по Новочеркасску кругом силу взяли, ходят, зверствуют, казаки с ними за одно пошли. Нет, погодить надо, на чем порешат.

— А что дедушка, в Новочеркасске Атаманская власть?

— Сидел Каледин Алексей Максимович, а что теперь — никому неизвестно, с мужиками, сказывают, столковаться хочет. Сидел Каледин, да усидит ли, Христос один знает. Времена тяжелые стали. Сегодня присягнут, на завтра предадут. Да вы что?.. Торопиться некуда. Не объедите старика. Все свое, непокупное... Да. Отдохните маленько, да пораспросим людей, а там и видать станет, куда вам лететь!.. Не на огонь же прямо!..

### III.

Когда Саблин с револьвером в руке бросился в толпу солдат, в вагоне произошло движение. Все солдаты и с ними вместе Ника и Павлик Полежаевы выскочили из вагона и бросились за Саблиным. Ника и Павлик не отдавали себе отчета, зачем они бегут. Они были безоружны, они сами должны были бояться солдат, потому что были офицерами, но была какая то надежда, что, может быть, им удастся быть полезными, помочь отстоять генерала Саблина. Они видели, как Саблин остановился и прицелился. Остановилась и вся толпа. Продолжал, не спуская глаз с Саблина, как хорошая **борзая собака с зайца, бежать молодой солдат, бежал бледный солдат** со злым лицом и еще несколько забегали с боков и сзади. Но Саблин не стрелял, а опустил револьвер и в то же мгновение на него навалилась толпа и Полежаевы поняли, что для Саблина все кончено. Весь интерес толпы был сосредоточен на нем и на Нику и Павлика, стоявших в стороне, в лесу никто не обратил внимания.

— Пойдем с ним, — сказал Ника.

— Ничем не поможешь, — сказал Павлик. — Надо добывать Олю бежать, куда глаза глядят. Нам нет возврата в вагон.

— Но как же так?... Его-то... Бросить? — сказал Ника и губы его надулись и на глазах показались слезы. - - Благородно это?

— А что же сделаешь? Ну, скажи сам. Если бы оружие было, можно было бы попытаться стрельбою разогнать их.

Они стояли в лесу. Молодые сердца бились от негодования от беспомощности. Едкое чувство стыда от всего виденного было в них. Поднималась глухая, жестокая ненависть к солдатам и жажда мести, кровавой, страшной мести становилась главной целью, главным смыслом жить.

— Пойдем на юг, к казакам! — сказал Павлик. — Там мы добудем оружие. Пойдем и освободим его.

— Да, если они раньше не прикончат?

— Тогда отомстим.

— А Оля как-же?

— Конечно с нами. Сестрою милосердия. Куда она пойдет теперь? Родного дома нет, родной земли нет. К казакам! Одно спасение.

Они нашли Олю в лесу недалеко от вагона. Как только она увидела братьев, она замахала им руками, давая понять, чтобы они не шли к железной дороге и сама, оглядываясь и скрываясь за деревьями, стала пробираться к ним.

— Милые мои! — говорила она, переводя глаза с Павлика на Никку и с Ники на Павлика, будто желая убедиться, что оба живы и невредимы. — стойте, стойте, дорогие...

Она подошла и нервно заговорила.

— На поезд и думать нечего возвращаться. Надо бежать, как можно дальше отсюда. Та старушка в платке и жена телеграфиста оговорили вас. Они сказали, что и вы были с генералом Саблиным. Назвали вас его адъютантами. И откуда они это взяли! Кубанского офицера схватили и арестовали, жена его на коленях валялась, просила, чтобы освободили. ее тоже потащили. Всем распоряжался тот молодой солдат с красивым лицом. Инженера, который вчера спорил с ними и его даму тоже забрали, и толстого еврея взяли. Вещи стали перерывать. Я в лесу спрятавшись была, так видела, как они пустые чемоданы выкидывали на дорогу. Вернуться теперь — на верную смерть. Надо бежать.

— Куда бежать? — сказал Ника.

— На юг! На юг! — сказал Павлик. — И не медля ни минуты.

Солнце светило над лесом и по солнцу и по оттаявшим стволам, по почерневшим с одной стороны кочкам братья Полежаевы и Оля знали, где юг. Юг и казаки рисовались им благословенною странюю порядка, где вновь создается великая Российская армия, где не ходит по городам и деревням кровавый туман и где не висят красные знамена с призывами к бунту и грабежу.

На Юг!

Они шли, избегая селений и деревень, избегая больших дорог. У них, кроме небольшого запаса денег, ничего не было. Их вещи остались в вагоне. Но они не думали о лишениях. Крепко, глубоко верили они, что там Россия, которая пригрет и накормит.

К вечеру, голодные и холодные, они подошли к селению. Они выбрали одинокую хату и постучали в надежде переночевать. Старуха и две молодые женщины пустили их. Но, приглядевшись к ним, при свете лампы, засуетились и стали говорить: „буржуи... нет, лучше уходите, греха бы не было. А деньги есть?.. За деньги хлеба немного дадим и идите... Идите и вам плохо будет и нам в ответ попасть придется. От комиссара наказ: — буржуев не принимать. Поди к казакам пробираетесь? А казаки, слышать, всех солдат истребляют”.

За три рубля они отпустили фунт старого хлеба, закрыли перед ними дверь и холодная звездная ночь открыла им свои объятия.

Они провели ее за околицей, зарывшись в скирду немолоченого хлеба, устроив в нем нору и согреваясь животной теплотой. На селе неугомонно лаяли собаки, слышались звуки гармоники, пение хриплых голосов. То загорались желтыми огнями маленькие окна избышек, то потухали, слышался смех, женский визг, крики и улюлюканье. Молодежь гуляла по селу. До света Полежаевы выбрались из своей норы и вышли в путь. Разбитое тело ныло. Но обогрело солнце, размахались руки и ноги и стало легко идти, только голод понимал.

Проезжий мужик провез их верст восемь и денег не взял. **Он показал, где граница Донской земли и как ее перейти.**

— Там, сказал он, — все одно. Советская власть. — Но не верилось этому. На Дону и власть Ленина и Троцкого! Власть предателей отчизны. Нет, Дон не покорится жиду!

С надеждою в сердце подошли они уже вечером к первой донской станице. Их обогнал конный казак, по виду офицер, в хорошей дорогой шубе, в большой отличной папахе, при шашке, украшенной серебром. Его сопровождало

два казака. Они тоже были в дорогих шубах, один в казачьей шапке, другой в низкой бобровой. Офицер внимательно взглянул на прохожих. Это был бледный брюнет с черными стриженными усами, с тонким носом и красиво очерченными выразительными губами.

Павлик сейчас же узнал его.

-- Ника, сказал он. Это Иван Михайлович Мартынов. Помнишь? Мы его у Леницыных встречали. Он пел баритоном у них. Гвардейский офицер. Вот находка. Я пойду, разыщу его. Мы всё от него узнаем.

-- Павлик, а если он?.. Если он их?

--- Ну что ты!! И казаки с ним. Это наверно уже Календы. Мы спасены.

Но какая то осторожность заставила их разделиться. Было решено, что Павлик пойдет один, а Оля с Никой останутся за околицей опять у хлебной скирды.

- Погодите, говорил Павлик, — я вам хлеба принесу, сала, чая вам изготавим, щей горячих. Иван Михайлович душа человек. Он и Саблина хорошо знал. А помнишь, Оля, как он за тобой ухаживал?

**Павлик без труда нашел хату, в которой остановился проезжий офицер. Его рослая нарядная лошадь и такие же две лошади казаков были привязаны у большого дома, принадлежавшего зажиточному казаку.**

Павлик поднялся на крыльцо и остолбенел, на двери был прибит белый картон, на котором крупными буквами было написано: „канцелярия Камышанского совета рабочих, солдатских, крестьянских и казацких депутатов“. „Комиссар“.

Он хотел повернуться и бежать, но дверь широко распахнулась и в полосе яркого света появился один из сопровождавших Мартынова казаков с бумагой в руке.

-- Вам, товарищ, кого? -- спросил он, с головы до ног оглядывая Павлика.

— **Есаула Мартынова. Я знаком с ним, — твердо сказал Павлик.**

--- Как доложить о вас?

— Скажите: Павел Николаевич Полежаев, — сказал смело Павлик. Он понял, что погиб, что терять ему нечего, спасти могла только храбрость.

#### IV.

**Иван Михайлович сидел в хорошо убранных комнате за накрытым скатертью столом и закусывал.** Большая керосиновая с фарфоровым колпаком лампа освещала его лицо. Перед ним стояла бутылка водки, тарелки с нарезанной жирной шамайкой, селедкой и паюсной икрой, громадные ломти хлеба лежали на блюде, тут же стояла миска накрытая крышкой. Красивая рослая казачка, молодая, белокурая, с **длинными густыми косами накрытыми шелковым платком**, стояла в углу и опиралась подбородком на пальцы согнутых в локте полных белых рук.

— Полежаев, Павел Николаевич, — сказал радушно **Мартынов. — Какими судьбами? Садитесь. Гостем будете.** Зачем в наши края пожаловали?.. Прасковья Ивановна, расстарайтесь вторым прибором. Вот, Прасковья Ивановна, вы говорили мне, что никогда не видали живого буржуя. А вот он сам к нам и пожаловал. Смотрите, любуйтесь... Ну, шучу, шучу.

**Мартынов налил водки Павлику и пододвинул ему блюдо с жирной янтарной шамаей.** Он мало переменился с тех пор, как его видал Павлик в Царском Селе. Только свои красивые длинные шелковистые усы остриг и черную Мефистофельскую бородку сбрил, — отчего лицо его казалось круглее и сам он выглядел сытее. Он и действительно располнел. Он был хорошо одет, на холеных белых руках с длинными **узкими пальцами были дорогие перстни и особенно один крупный бриллиант играл при свете лампы.** У Павлика мелькнула мысль, откуда эти кольца? Он знал, что Мартынов был небогат, что он должен был уйти из гвардии из-за какой то истории, связанной с денежными затруднениями. Но смотрел Мартынов на Павлика такими же красивыми в густых и длинных ресницах карими глазами и в жестах его

была прежняя широта и радушие любящего принять и угостить человека.

— Что же, — прищуривая глаза и зорко глядя на Павлика, сказал Мартынов — к Каледину, или Алексееву пробираетесь? А? Много вас туда пробирается. А зачем?.. Павел Николаевич — я вас вот таким, — Мартынов показал рукою немного выше стола, — знал и сестрицу вашу Ольгу Николаевну хорошо знаю и брата и, откровенно скажу вам, — я вас очень всех люблю. Ну, идете вы к Алексееву и Каледину. Кто они? Республиканцы! А я ведь вас знаю отлично, — вы монархисты. И вы идете к кому? К французским наемникам. К тем, кто на французские деньги гонит казаков и Русский народ уничтожать своих братьев. У нас рабочекрестьянская власть, у нас Россия, а у вас кто? Мне доподлинно известно, что казаки не пошли с Калединым, у Алексеева только кадеты и юнкера, да немного офицеров. Что затеваете вы? Ведь вы меньшинство! Вы то подумайте. В России было сто тысяч, да, если не больше, офицеров — а у Алексеева еле набралось четыре тысячи. А почему? Павел Николаевич, всякий офицер монархист — это аксиома. И я монархист, как монархист и вы.

— Так что же, сказал Павлик, — Ленин и Троцкий монархисты?

— Кто знает, кто знает! — сказал, качая головою, Мартынов. — Вы подумайте только, кого большевики упорно уничтожают. — Эс-эров и кадетов. Да-с! Эс-эров и кадетов. Вот газеты полны проклятиями по поводу убийства Шингарева и Кокошкина, Бурцев томится в тюрьме, а Сухомлинова выпустили на свободу, Анна Вырубова живет в довольстве. Кто такое Муравьев? — монархист чистой воды. Притом частным приставом долгое время служил. А теперь в Бресте мы ведем переговоры с кем? С его императорским и королевским величеством императором Вильгельмом. Павел Николаевич, идите с нами. Мы с народом. Мы поняли народ. У нас... Помните, когда то певал я песню, сам ее и сочинил: — „скучно станет — на Волгу пойдем, бедно станет и деньги найдем!“ Павел Николаевич, — справедливо это, что у какого ни-

будь банкира, жид паршивого, капитал, миллионы, камни, золото, а у меня, образованного донского казака, умного, красивого, я ведь, Павел Николаевич, себе цену знаю, — как говорится: — шиш в кармане и вошь на аркане. Почему? Переместить надо. Умные, молодые и смелые, — вот, кого выдвигают большевики в первую линию. Идемте с нами, а?

Мартынов пил рюмку за рюмкой и хмелел. Но хмель у него выражался в болтливости, более ясном уме, радушии и широких жестах.

— Прежде чем решиться идти с вами, — сказал Павлик, — я бы хотел точнее знать, что такое большевики. У меня составилось о них в Петрограде несколько иное представление.

— Прасковья Ивановна, расскажите буржую что такое большевики, — сказал Мартынов, обращаясь к молодой женщине.

— Ну что вы, Иван Михайлович, стыдливо закрываясь рукою, сказала казачка.

— Большевики — это... Все позволено.

Мартынов к самому лицу Павлика протянул свою украшенную кольцами руку.

— Ревизовал я сейфы в Петрограде, — изволите видеть, что получил? По праву!! По праву сильного, ловкого, умного! Посмотрите на Прасковью Ивановну — дочь священника. По старому — жених, да невеста, да еще отдали бы за меня, либо нет, а я притом уже женат, а ведь она любит меня, давно любит, — а теперь, объявили реквизицию женщин, и — моя, голубка, по праву красивого. Павел Николаевич, — осуществление воли, вот как я понимаю большевизм. Теперь комиссаром на Дону — Миронов. Вы изволите его знать? З-зам-м-ечательная личность. Я вам биографию его расскажу. Он товарищ мой по училищу. Мы оба Михайловского Артиллерийского и оба духом либеральным еще со скамьи Воронежского корпуса заражены. Бакунина и Крапоткина тайком читали. Теперь, позвольте вас спросить, почему, когда пишет Крапоткин, — интеллигенция благоговеет и на вытяжку стоит: — анархист — революционер, ну а когда

приходят Ленин и Троцкий и говорят: „исполнить то, что написано” и является трудовой народ и исполняет то, что ему твердила интеллигенция вот уже больше пол века, она ужасается и вопит на весь мир. А? Я пришел и взял. Потому что я хочу и могу. Я взял золото, камни, взял женскую ласку и любовь, потому что я силен и умен. Миронов ума палата. Он молодым офицером на Японскую войну пошел, да не в артиллерию, где все таки безопаснее, а в армейский казачий полк. Пешком с казаками в атаку ходил. Георгиевский крест заслужил — вот он Миронов! По возвращении, смело, открыто выступил против всех наших болячек. Ну, слышали верно... и жалованье казакам не выдавали и денежные письма утаивали и лошадей не кормили, да, все это было и против всего, значит, Миронов выступил. И... пострадал за правду. Он был выгнан из полка. Усть-Медведицкая станица выбирает его своим станичным атаманом. Миронов горит на этой должности. И сгорает. Ведь в России то говорили: — „с сильным не борись, с богатым не судись”, а Миронов против сильного шел, богатого обижал. Все верховое казачество его знает и благоговеет перед ним. Ну, скажите, кому атаманом быть Миронову или Каледину?

— Но, сколько я слышал, Круг казачий дважды выбрал Каледина своим Атаманом, сказал Павлик.

Круг, круг! Вы слышали, что сказал Ленин представителям союза казачьих войск, которые явились к нему, когда узнали, что Ленин посылает карательную экспедицию на Дон.

— „Ваш Круг”, — сказал Ленин, — „представлен лишь офицерством и буржуазными элементами и в нем не слышно голоса трудового казачества”. Так то, Павел Николаевич. Сегодня ночью Миронов должен сюда быть. Хотите, я познакомлю вас с ним и оставайтесь у нас. Помяните мое слово, и месяца не пройдет, как мы сметем, с лица земли и Каледина и Алексева, и красное знамя трудового казачества будет развеваться по всему Дону сверху до низу. Каледин держится только в Новочеркасске, держится лишь потому, что его не трогают. Подумайте, товарищ, — и власть, и богатство, и роскошная жизнь, и приволье, и женщины, — все вам, если

пойдете с нами. Вы смотрите, — я вас не неволю, другие **расстреливают таких, как вы — я даю вам свободный выбор.** Я отпускаю вас в стан врагов! А? Вы голодны, устали, замерзли, кочуя по полям. Я даю вам тепло, сытость, вы отдохнете. На днях решено приступить к формированию красной армии, нам нужны инструктора. Ну? я жду ответа. А?

— Я не могу идти с большевиками, — тихо сказал Павлик. — Они немецкие шпионы, они изменники, их никто не выбирал, они захватили власть.

— Басни, Павел Николаевич, буржуйския басни, ложь и клевета. **А хотя бы и так. А вы к кому идете? Тут немецкие деньги, у вас французские** — все не Русское дело творить вы идете.

— Французы наши союзники, а немцы враги.

— Павел Николаевич, а идея?

— Идея — Россия!

— Царя я бы понял. Но Россия с Керенским или Россия с Лениным не все ли равно? Оставайтесь. А?

— Иван Михайлович, — вставая сказал Павлик, — вы дали мне обещание отпустить меня и я ухожу.

— Идите. Я спокоен. Вернетесь к нам, когда увидите, где правда.

— Правда там, где трехцветный флаг и нет ни крови, ни грабежа, ни насилия.

— А если вы и там найдете кровь, грабеж, насилие и воровство?

— Под Русским флагом? — с возмущением воскликнул Павлик.

— Под Русским флагом, — настойчиво, устремляя свои красивые глаза на Павлика, сказал Мартынов.

Несколько секунд оба молчали. Мартынов не сводил глаз с Павлика.

— Ну, — сказал он, — когда то, очень давно, я был влюблен в вашу мать. Я был тогда совсем молодым офицером. Во имя ее, идите. Идите только скорее. Ночью придет сюда со своею дивизиею **Миронов и тогда вам не уйти.**

Прасковья Ивановна, соберите гостю хлеба, яиц, шамайки, сала...

После этого пять дней Павлик, Ника и Оля шли по ночам по степи. Они выбирали направление по звездам. Павлик становился лицом на Полярную звезду, потом поворачивался кругом, они выбирали какой-либо предмет, бугор на балке, дерево, копну и шли пока хватало сил. Они отыскивали казачьи шалаши „летовки“, в которых казаки живут во время полевых работ и там, забившись в старую прелую солому, проводили день, прислушиваясь к тому, что было в степи. Пустынная глухая степь жила в эти дни особенною жизнью. По далеким шляхам были видны фигуры конных казаков, они гнали лошадей, скот, птицу, скрипели тяжелые возы, запряженные большими серыми волами, станицы и хутора суетились и не по зимнему жили.

Запасы, данные Мартыновым, давно истощились, питались случайно найденными корками хлеба, пустыни колосьями. Наконец утомление, голод и холод заставили их рискнуть **подойти к станице и темною ночью они постучали у одинокой хаты** и то что они услышали вселило им надежду на спасение от голодной смерти в степи. Услышали они сказанные старческим голосом слова: — Спаси Христос!

## V.

— Это кто-же говорит-то? Высокий, да худой такой, да патлатый?

— Член правительства.

— Та-ак. Офицер?

--- Офицер. Есаул. Выборный войсковой есаул.

— Так... Видать сразу. К старому порядку гнеть.

— А в новом то что хорошего? Пуд пшеницы почем пошел? Тринадцать рублей! -- это вместо восьми гривен.

— **Мелкой разменной монеты совсем нету. Вчера три рубля по всей станице бегал, разменять не мог.**

— Корец молока — два целковых. Свобо-о-да!

С паперти, освещенной яркими, по весеннему бьющими лучами солнца, несло:

— Господа! если не хотим потерять наши вековые вольности казачьи, надо становиться на защиту Тихого Дона, отстаивать родные курени от насильников, идущих из Москвы. Не первый раз седому Дону становиться в оппозицию Московской власти, с царями не ужились, неужели допустим теперь немецким агентам и шпионам поработить казаков, неужели потоптаны будут нивы казачьи и поруганы наши храмы!

— Никогда! — слышалось в густой толпе сгрудившейся возле большого храма.

— Не выдадим родные могилы!

— В слободе Михайловке, при станции Себряково, одушевленно говорил оратор, — произвели избиение казаков, причем погибло, по слухам, до восьмидесяти одних офицеров!

— Ох! грехи, — поговорил беззубый старик в погонах урядника и с медалью за турецкую войну на сером чекмене домодельного сукна.

— Развал строевых частей достиг до последнего предела и, например, в некоторых полках Донецкого округа достоверены факты продажи казаками своих офицеров большевикам за денежное вознаграждение, — гремел оратор, взглядывая на бумажку. — Большинство из остатков уцелевших полевых частей отказываются выполнять боевые приказы по защите Донского края!

— Повоевали и будя! — сказал молодой казак в толпе казаков, одетых в форменные шинели без погон и засмеялся.

— Господа, — раздавалось с паперти, и голос оратора истерическим воплем несся над толпою. — Я повторяю вам речь, сказанную вчера на Кругу нашим выборным Атаманом Алексеем Максимовичем Калединым, тем самым, которому, вручая Атаманский пернач, сказал наш выборный помощник Атамана Митрофан Петрович Богаевский — „по праву древней обыкновенности избрания войсковых атаманов, нарушенному волею Петра Первого в лето 1709 и ныне восстановлен-

ному, избрали мы тебя нашим войсковым Атаманом". Господа! в те майские дни свободы мы вернулись к тому славному, счастливому времени, когда казаки горделиво говорили — „здравствуй Царь в кременной Москве, а мы, казаки, на Тихом Дону!"

— Ишь ты! Царя вспомнил, — сказал тот же молодой казак. — Это что же опять под офицерскую палку, да на польскую границу под двуглавого орла становиться.

— Господа! если не будет сокрушен немецкий милитаризм, то Вильгельм по частям заберет нашу федеративную республику, начиная с Украины, которая этой федерации так добивается! Кто идет с большевиками? Немцы и пленные мадьяры, латыши и китайцы посланы разгромить Дон и уничтожить, с лица земли стереть, самое имя казака.

— Неправда! — раздался голос из толпы одетых в форменное платье казаков. — С большевиками идут казачьи вожди Голубов и Подтелков. Идет трудовое казачество освобождать Дон от засилья каледицев, идут рука об руку с трудовым народом.

Томительная тишина наступила на площади. Было так тихо, что вдруг отчетливо стал слышен весенний писк воробьев и частая капель воды по темным лужам с крыш торговых рядов, окружавших площадь. Оратор поник головою и, казалось, растерялся от этого крика.

— Я не убеждать и не спорить с вами пришел, а пришел передать призыв Круга и атамана Каледина вооружаться и **формировать станичные дружины на защиту Тихого Дона!** — сказал он глубоким проникновенным голосом и на бледном, нездоровом, вдохновенном лице его пламенем загорелись светлые глаза.

— Коли атаман Каледин желает блага, то пусть он покинет свой пост. А не добровольческие дружины собирать для защиты буржуев! Нам Голубов с большевиками зла никакого не сделает. Большевики борются против засилья мирового капитала, — твердо выговорил как бы заученную фразу казак лет двадцати пяти в серой папахе и шинели без погон.

— Вы кто такой и от кого говорите? — спросил оратор.

— Я делегат 41-го казачьего полка, — хмуро сказал выступивший казак. — Мы порицаем выступление буржуазного генерала Каледина и приветствуем товарищей солдат, крестьян, рабочих и матросов, борющихся с буржуазией.

— Господа, вы слышали! Ведь это измена казачеству. Таких людей вешать надо!

— Руки коротки!

— Он делегат. Какая же это свобода!

— Офицер говорит, так его слушать надо, а когда трудовой казак правду матку отрезал так на него окриком.

— Каждый могёт свое мнение высказывать.

— Господин есаул, — проговорил, выступая молодой офицер в солдатской шинели с погонами сотника и его лицо внезапно стало бледным, как полотно. — Позвольте сказать. Соппротивление бесполезно. На нас идет вся Россия. Их сила. И вас и меня все одно повесят.

— Так! — загремел, вдруг вспыхивая оратор и поднял кверху обе руки со сжатыми кулаками и с силой ударил ими по столу, стоявшему перед ним. — Так! Это мне наплевать; я повесил не одного комиссара; а вот обидно будет вам, ничего не сделавшим для Дона, когда вас будут вешать!

— Постойте, господа, — вмешался, поднимаясь на ступени паперти, станичный атаман и поднял свою атаманскую булаву.

— Замолчи, честная станица, — одушевленно крикнул старик с седыми усами с подусками в судейской фуражке. — Замолчи, честная станица! Атаман трухменку гнёт!

Кругом засмеялись.

— Ловко Парамон Никитич!.. По старому... уважил... раздались голоса среди стариков

— Как значит, господа, атаман Каледин, наш выборный атаман, — волнуясь заговорил станичный атаман, — и мы его выбрали, чтобы его приказ сполнять все одно, как закон, и приказ его в том, чтобы, значит, всей станице поголовно подняться и итить оруженною и кто могёт на конях в Новочеркасск на защиту Дона, то, полагательно мне, мы

должны оный приказ исполнить... И не медля дела, отслужимши молебен собираться и в поход.

-- Правильно! В поход! — закричало несколько человек.

— Товарищи! — это братоубийственная война, — обращаясь и разводя руками заговорил бледный офицер, ища поддержки у строевых казаков, стоявших отдельною группою.

-- Ну, чаво там! Повоевали и будя, — сплевывая семечки, проговорил молодой казак.

— Господа! — воскликнул первый оратор, — мы должны защищать родной донской край. Пусть гибнет Россия, если это ей так желательно, но мы хотим свободы, той свободы, которой так жадно мы ожидали столько долгих веков.

— Правильно, --- сказал, выступая вперед, толстый бородатый казак. — Россия! Конечно держава была порядочная, а ныне произошла в низость... Ну и пушай!.. У нас и своих делов не мало собственных... Прямо сказать, господа, кто пропитан казачеством, тот своо не должен отдать дурно. Атаман правильно идет к той намеченной цели, штобы спасти родной край, а мы — пригребай к своему берегу... Больше ничего не имею, господа!

— Батюшка, отец Андрон, служи молебен, — сказал атаман, — вдарь в колокол. О даровании победы на **сопротив-  
вля.**

Гулко загудел колокол станичного храма, заглушая голоса и споры, широко распахнулись громадные ворота церкви и в прохладный сумрак стала, давясь и втискиваясь входить толпа. Строевые казаки повернулись и кучками пошли от храма, расходясь по станице.

— А вы что-ж! Хронтовики, — крикнул им бородатый толстяк, заключивший митинг своеобразной речью.

— А мы. Пригребай к своему берегу! — со смехом крикнул рослый молодцеватый урядник и решительно пошел по грязи в ближайшую улицу.

VI.

Петушок верно и точно передал дедушке Архипову не только речи „патлатого и долговязого, тонкого, словно журавель” члена Правительства, но и настроение станицы.

— Деда, — говорил он, в присутствии Ники, Павлика и Оли. — Хронтовики ни за что не пойдут. И такие они злобные стали. Зимовейскову отец говорит: — „ты, Андрей, собирайся, потому должен атаманский приказ исполнить”, а он, деда, ружье на вскидку взял и как крикнет: — „убью!” Это на отца то значит!

— Кто же пойдет от станицы? — спросил Павлик.

— Старики собираются. Вот отец Зимовейского мундир достал, жене приказал сухари готовить, Адриян Карпыч тоже за вином послали: в поход собираются. Да что с них толку. Напьются и до Новочеркасска не дойдут. Наши гимназисты собрались. Тридцать человек и офицер с ними, Клевцов, шестнадцатого полка; два урядника лейб-гвардейского полка, Щедров артиллерист, человек шестьдесят всего в нашу дружину наберется. Эти пойдут. Деда, а мне можно с **ними**?

— Что же, ступай, — хмуро сказал Архипов, видно последние времена настали.

— Мы так, деда, порешили, чтобы к Чернецову в отряд. Сказывали ребята, он не убит Голубовым, а раненый в Новочеркасске. И отряд его цел совсем. К нему и пойдём.

— А нам можно? — сказали Павлик и Ника.

— Отчего же, — сказал Петушок, — идемте. Конечно только вы иногородние, ну только мы, я думаю, и таких прием.

— **Последние времена наступили, — ворчал дед Архипов**, однако хлопотал и возился, доставая мешки, насыпая их пшеничными сухарями, завертывая сало, соль и хлеб.

— Что же, — говорил он, — прав Господь, прав и Давид Псалмопевец... Тогда, как нечестивые возникают, как трава, и делающие беззаконие цветут, чтобы исчезнуть на

веки. Ты, Господи, высок во веки!.. Да... Петушок и вы, родные мои, помните это.

— **Петушок, — тихо сказал старик, — какие теперь народы на земле существуют? А?**

— Немцы, — неуверенно и робея перед гостями, заговорил Петушок, — англичане, французы, турки...

— Еще, еще, — говорил Архипов.

— Египтяне... Японцы... Китайцы...

— Еще, еще...

— Сербы... Итальянцы... Болгаре... Поляки, — **бормотал, теребя край полушубка, Петушок.**

— Низложит племя их в народах и рассеет их по землям — торжественно сказал Архипов. — Они не истребили народов, о которых сказал им Господь; но смешались с язычниками и научились делам их. Служили истуканам их, которые были для них сетью. Проливали кровь невинную... Оскверняли себя делами своими, блудодействовали поступками своими. . . **И предал их в руки язычников, и ненавидящие их стали обладать ими. Враги их утесняли их, и они смирялись под рукою их. И возбуждал к ним сострадание во всех, пленявших их...** Спаси нас Господи, Боже наш, и собери нас от народов, дабы славить святое имя Твое, хвалиться Твоею славою!\*) Молись, молись Петушок! Родное дитяtko мое — молись!..

Старик обернулся к Павлику, Нике и Оле и сказал: — все сие будет. Не было, но будет, ибо так написано Богом. Все сие увидите, все перенесете, но доживете и до большего! „Славьте, Господа! ибо Он благ, ибо во век милость Его! Так да скажут избавленные Господом, которых избавил Он от руки врага. И собрал от стран, от востока и запада, от севера и моря! Они блуждали в пустыне по безлюдному пути, и не находили населенного города. Терпели голод и жажду, душа их истаевала в них. Но воззвали ко Господу в скорби своей, и Он избавил их от бедствий их. И повел их прямым путем, чтобы они шли к населенному городу. Да славят Гос-

---

\*) Псалом 105 ст. 34, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 46, 47.

**пода за милость Его и за чудные дела Его для сынов человеческих!..** Безрассудные страдали за незаконные пути свои за неправды свои. Но воззвали ко Господу в скорби своей, и Он спас их от бедствий их!\*) Ну, господа! Ну, Петушок!.. Ах... Петушок, Петушок! Родный мой... Одинокого оставляешь меня... Закусим... и айда-те! С Богом.

Уже под вечер проводил Петушка и Полежаевых Архипов в „гимназическую” дружину. Провожая до начала станции он находился в восторженном настроении и все напевал старческим голосом:

**„Воспрянь, псалтирь и гусли!**

„Я встану рано.”\*\*)

В Новочеркасске гимназическая дружина разошлась. У каждого оказались родные, или знакомые, к которым и пошли отдохнуть и закусить. Полежаевы стояли одни за полотном железной дороги у крутого подъема на Новочеркасскую гору. Их беспомощное положение заметил Петушок.

— Ну вот что, господа хорошие, — сказал он. — Теперь утро, все одно разведку делать надо. Посмотрите на город наш, а к двенадцати часам приходите в кадетский корпус, там наши соберутся, ну мы и обмозгуем, как быть то и прочее, да и пообедать надо.

## VII.

Ночью выпал снег, теперь он таял. Густой неподвижный туман стоял кругом, скрывая дома и деревья. В мутном опаловом свете серыми казались маленькие одноэтажные и двухэтажные домики, тянувшиеся с промежутками, закрытыми заборами, вдоль широкой улицы, круто подымавшейся в гору. Посередине был чахлый бульвар. Деревья протягивали в тумане черные ветви, низкая решётка бульвара была поломана. По нему двигались редкие пешеходы. Город был в запустении. На панели не хватало плит и нога вместо камня

\*) Псалом 106 ст. 1-8, 17, 19.

\*\*) Псалом 107 ст. 3.

ступала неожиданно в жидкую грязь, прикрытую пухлым ноздреватым снегом. У большинства домов ставни еще были спущены и от окон веяло крепким сном. Широкие улицы уходили вправо и влево от спуска. На них стояли небольшие дома и так же хмуро глядели они из под закрытых ставень слепыми окнами. Ни полиции, ни дворников, ни извозчиков не было видно. Ехал казак на подводе с залепленными густою грязью колесами. Улицы тонули в тумане и казалось, что там, где кончался туман кончался и город. В конце подъема раскрылась большая площадь. Маленькие садики были на краю ее и кусты акации, сирени и жимолости протягивали к въезду на площадь покрытые каплей росы ветви. Мутно рисовались по ту сторону площади стройные здания Александровского стиля, высокие тополя бульвара и широкий проспект, большими домами уходящий вдаль. Поперек пути поднималась дикая в два роста человека скала, на ней лежала чугунная бурка, мохнатая низкая громадная папаха и чугунный черный значек, на котором была высечена адамова голова и надпись: „чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь“... — Памятник Бакланову... За ним, закрывая весь город, утопая вершинами в волнах тумана и поблескивая там шестью золотыми куполами стоял громадный строгого стиля, вытесанный из дикого, чуть желтоватого камня, собор. Перед его громадою все казалось маленьким и ничтожным. Вправо от него город крутым обрывом спускался в степь, закрытую мглою и казалось, что собор висит в беспредельности. Собор был новый. Густая позолота покрывала купол его входной колокольни и пять куполов над зданием слитого с нею собора. Многими низкими ступенями поднимались ко входу с художественными вратами. Камень стен был сырой от тумана.

Большая икона Божией Матери с лампадой была вделана во входную сень. У двери, прислоненные к стене, не гармонируя с роскошью стен, с бронзой рукояток, с золотом и красками иконы, с величиною собора, стояло шесть гробовых крышек, наскоро сколоченных из сосновых досок.

Тихо, сквозь полуоткрытую дверь проскользнули Полежаевы в собор. Там был полумрак и пустота. У низких дверей иконостаса слышалось стройное панихидное пение. Священник в темной ризе стоял у амвона. Между двумя громадными квадратными колоннами, покрытыми позолотою и живописью ал-фреско с изображениями святых, на каменном полу стояло шесть простых гробов. Три стояло на низких табуретках, три прямо на каменных плитах. Оставив Олю у колонны, с которой в епископском облачении из золота, смотрел на нее с саженой высоты Петр, митрополит Московский, Павлик и Ника подошли к гробам. Во всех лежали юноши. В серых солдатских рубашках и серых штанах с босыми серыми ногами, с темными густыми волосами, без усов и бород они казались восковыми куклами. Пять были белые, спокойные. Лицо шестого было разбито шашкой и все почернело от застывшей крови. Темная повязка прикрывала раздробленный череп. Над этим гробом, на коленях, неподвижно, не крестясь и не кланяясь стояла интеллигентного вида женщина. Она устремила большие, страшные глаза **на темное лицо с почерневшей повязкой. У других гробов** не было никого. Маленькими огоньками тихо горели тонкие восковые свечи, прилепленные к краям гробов у изголовья.

И не то было ужасно, что шесть гробов с юными покойниками стояли в соборе, а то, что они были так одиноки. И от этого одиночества веяло беспредельной печалью.

У противоположной колонны, где из сумрака купола вырисовывалось строгое лицо Николая Чудотворца, стояло два военных. Один, высокий, скорбный, чуть сутуловатый, с бледным лицом, с небольшими подстриженными черными **усами, в солдатской шинели с георгиевской петлицей и при** шашке с георгиевским темляком хмуро и печально, сосредоточенным взором глядел на покойников. Павлик и Ника сейчас же узнали в нем Атамана Каледина. Сзади него стоял полный полковник с пухлым бледным лицом, с усами и небольшой бородкой. Он часто крестился и в левой руке его дрожала восковая свеча.

Священник молился „о упокоении души убиенного раба **Божия Петра и воинов на поле брани убиенных, здесь предстоящих** и их же имена Ты, Господи, веши”...

Эти молодые, по всему видно, из зажиточных семей ушедшие люди, были никому неизвестны. Их где-то, кто-то убил, их прислали в товарном вагоне, без гробов и никто не успел их опознать.

Это зрелище ужасом и тоскою наполняло души Павлика и Ники. Оно говорило им, как безконечно одинок был Атаман Каледин в своей священной борьбе с насильниками Русского народа. Только дети пошли за ним. И, когда убили этих детей, некому было позаботиться о том, чтобы опознать их и похоронить достойно. Геройский подвиг обращался в мученичество и дети являлись в этих гробах не героями солдатами, но великими христианскими мучениками. В новом, страшном свете раскрывалась вся драма Русской жизни. Против насильников, палачей, грабителей, изуверов не встала вся святая Русь, но в рабской покорности склонила шею свою под удары палача и, когда возмутились дети, никто, никто не поддержал их!

Вспомнились слова дедушки Архипова и казались они пророческими и как огонь жгли сердце и изливали на душу злую тоску:

...„Проливали кровь невинную, кровь сыновей своих и дочерей своих”...\*)

...„Безразсудные страдали за беззаконные пути свои и за неправды свои”.\*\*)

Неполный хор мягко пел на правом клиросе вечную память.

Священник прочел отходную молитву и положил венчики на белые лбы покойников. Коленопреклоненная мать все так же стояла над сыном. Надо было закрывать гробы. Два служителя долго возились с крышками, таская их с подъезда. Пришли четыре человека в черных одеждах и начали вы-

---

\*) Псалом 105 ст. 38.

\*\*\*) Псалом 106 ст. 17.

носить покойников. У паперти собора стояло трое погребальных дрог с катафалками. Человек пятнадцать музыкантов казаков со ржавыми трубами стояли поодаль. Гробы ставили по два на каждые дроги. Наконец тронулись. Музыканты нестройно сыграли „Коль славен” и потом, шлепая по растаявшему снегу, и подбирая шинели пошли за гробами и грянули похоронный марш. За шестью гробами шла женщина, низко склонив голову, и Атаман Каледин с полковником. Сзади вразброд шли музыканты, выбирая сухие места.

По панели, вдоль домов, ходили люди. Одни останавливались, снимали шапки и крестились, другие проходили мимо и отворачивались.

Павлик, Ника и Оля машинально шли за гробами. Влево показался сад. В тумане стал виден чугунный казак с поднятой шашкой, вскочивший на постамент — памятник Платову. Атаман Каледин снял фуражку, перекрестился и пошел налево вдоль сада. Похоронная процессия свернула направо и скрылась в густом тумане широкой, обсаженной вдоль тротуаров большими тополями, улицы. Туман растворил в себе гробы. **Музыканты разбрелись во все стороны.**

Павлик, Ника и Оля стояли одни, без денег, голодные, в чужом городе, среди чужих людей, в тумане зимнего дня.

## VIII.

Петушок с гимназистами попал в Чернецовский отряд. Но души отряда, лихого отважного полковника Чернецова, кумира молодежи, уже не было в живых. С середины января он, с восемьюстами гимназистов, кадет и студентов, едва обученных стрелять, бился с большевиками на севере Дона. 17-го января он занял станицу Каменскую, 19-го станцию и слободу Глубокую, но здесь против детей, не знающих военного дела, выступил Голубов с казаками 10-го, 27-и 44-го полков. Этими казаками руководили насильно взятые ими офицеры. Это были люди, три года сражавшиеся с немцами и побеждавшие их, во главе их стоял пьяница офицер, войсковой старшина Голубов, человек без принципов, необъят-

ного честолюбия, мечтавший стать Атаманом. Образы Разина и Булавина витали в его пьяной голове. Ему грезилось настоящее атаманство среди ватаги пьяной вольницы, с правом приговаривать всякого ослушника — „в куль да в воду”. Он проводил время в пирах по станице среди отчаянных казаков 10-го полка, лучших казаков Донского войска. Ему играли казаки-трубачи этого полка на трубах, обвитых желто-черными австрийскими лентами, взятыми казаками в Ржешове у австрийских улан в сентябре 1914 года, ему пели Каменские песенники его атаманскую песню.

Среди лесов дремучих  
Разбойнички идут  
И на плечах могучих  
Товарища несут.  
Носилки не простые  
Из ружей сложены...  
А поперек стальные  
Мечи положены.  
Ах, тучки, тучки повисли  
И в поле пал туман!  
Скажи, о чем задумал.  
Скажи, наш Атаман.

Смесь романтизма с пьяным разгулом, готовность лгать, издеваться, говорить зажигательные речи, продаться кому угодно, лишь бы играть роль, лишь бы шуметь, лишь бы быть первым все равно среди кого — Голубов был находкой для большевиков. Он забыл свое офицерское звание, забыл воспитание и образование и с упоением играл в Разина. Ему нужна была кровь, нужны были подвиги, чтобы заслужить перед большевиками. Он пошел против Каледина потому, что Каледин его понял и арестовал за пьянство и дерзкие речи. Но он был товарищем с Митрофаном Петровичем Богавским. Он плакал и каялся на груди у мягкого Митрофана Петровича и тот отпустил его на честное слово. Голубов пошел мстить Каледину. Он шел на Новочеркасск с грубым и наглым Подтелковым, с тупым Медведевым. Что до того, что сзади шли матросы и красногвардейцы, которые клялись,

что они с корнем уничтожат злобное змеиное гнездо буржуазии и контрреволюции — Новочеркасск, что до того, что от Новочеркаска отстаивать Дон от большевиков выступил его товарищ Чернецов и с ним кадеты и гимназисты, родные братья тех самых казаков, которых он ослепил бурными речами — он спал и видел войти в Атаманский дворец и править войском по своему — по Разински. Кровавые потехи грезились ему. Была тут и персидская княжна в мечтах его, и разгул страстей, и песни, и насилия над женщинами.

20-го января его донцы привели к нему израненного пленного Чернецова. Пламенный горячий патриот, решивший душу свою отдать за спасение Дона, стоял перед пьяным Голубовым. Они были знакомы, встречались раньше в Новочеркасске, бывали в одних домах. Голубов всегда чувствовал над собою нравственное превосходство Чернецова и теперь он решил издеваться над ним. С наглым тупым и жадным Подтелковым он принял Чернецова. Но едва Подтелков позволил себе сказать дерзкое слово про войско, про Каледина и Чернецовскую дружину, Чернецов ударил Подтелкова по лицу. Подтелков убил безоружного, раненого Чернецова...

Чернецовская дружина, оставшись без вождя, медленно, с боями, упорно сопротивляясь, отходила к Новочеркаску. Петушок с гимназистами застал ее в Горной. Враг был кругом. Им сейчас же выдали винтовки и по тридцати патронов, маленький пятнадцатилетний бойкий кадет Донского корпуса Гришунов облюбывал Петушка и прикомандировал его к своему пулемету.

— В бою покажу, как стрелять из него, — сказал он, — а пока помогай таскать.

Большевики наступали на Звереве со стороны Дебальцева и на Лихую со стороны Царицына, рабочие в Сулине и Александро-Грушевском присоединились к большевикам и всячески мешали партизанам. Связи с Новочеркасском не было.

По глухой степи, размокшей от падающего и тающего снега, с черной землей, пудами налипавшей на сапоги, отходил отряд Чернецова.

Каждый хутор, каждая слобода и многие станицы были враждебны детям.

— **Буржуи, кадеты проклятые!** — слышали дети на всех ночлегах. — Из-за ваших боев мы потом беды не оберемся. Вы то удерете, вам и горя мало, а нам с ними жить.

Страшно было ночевать среди озлобленного населения. Надо было держаться кучами. Продовольствия не хватало, денег не было. Тянуло домой, к этому примешивалось и беспокойство за Новочеркасск, потому что в ясные дни пушечная стрельба была слышна кругом. Патроны были на исходе.

Эту ночь в Горной не спали. Сбились по окраине хутора, по темным хатам, выставили кругом часовых и ждали, и слушали. Хутор, в котором ночевали Чернецовские партизаны, отделялся широкою балкою от другого хутора, где был враг. У Чернецовцев была мертвая тишина. Усталые, — весь день они рыли в замерзшей степи окопы, для последнего боя, голодные, они сидели по хатам.

— Господа! приказ держаться до последнего патрона. А ночью уходить и расплываться по домам. Будем ждать лучших дней — говорили офицеры, обходя своих партизан.

— Ведь, не вечно же это будет! Образумится народ. Поймут казаки, что они против самих себя идут... — говорили между собою кадеты и гимназисты.

По ту сторону оврага всю ночь гремела музыка, играла гармоника, пели песни. Там стояли Голубовские казаки и красная гвардия, присланная из Петрограда с приказом главноверха Крыленко: — „Товарищи! с казаками борьба ожесточеннее, чем с врагом внешним”. Там тоже ждали утра, чтобы сокрушить „кадетов” и идти грабить Новочеркасск.

## IX.

Утро настало ясное, солнечное. Подмерзшая за ночь степь оттаивала и легкая дымка поднималась над черной блестящей землей.

Офицеры обходили свою молодежь и говорили: — „господа, берегите патроны. Мы должны дотянуть их до ночи”.

— А если не хватит?

— На штык будем ждать...

Около полудня со скрежетом прилетела шрапнель и белым облачком разорвалась высоко в синем небе. Несколько пуль просвистало над окопами и застучали понад хутором винтовки красной гвардии.

Нестройными черными толпами, то сливаясь с черной развороченной землею, то резко рисуясь на бурой степи, покрытой травой со снегом, не успевшим потаять, показались **рабочие и вооруженные крестьяне, сзади на конях ехали казаки**. Это наступление не походило на военное наступление, но скорее на движение облавщиков, но ведь и против них лежали люди, не видавшие войны и не знавшие настоящей дисциплины строя.

— Закладай, Петушок, ленту, вот видишь в этот паз, — говорил Гришунов Петушку, — вот так, ладно. А сюда протянем. Слышал, щелкнуло, ну вот пулемет и заряжен.

— Ты только, Гришунов, не стреляй, — говорил Петушок, — ближе подпустим. Когда совсем близко будет — таррахнем. Они убегут.

Маленькою покрасневшею рукою Петушок гладил пулемет и он казался ему живым и красивым на своих низких широко поставленных толстых колесах. Точно лягушка сидела на степи, распластав лапы.

Свиснул, положив два пальца в рот, офицер искомандовал:

— Прицел четырнадцать! Прямо по цепи, огонь редкий по два патрона. С правого фланга... начинай!

— Пулемету можно? — спросил Гришунов.

— Пропустите десять патронов.

— Понимаю, — весело сказал Гришунов и, обращаясь к Петушку, заговорил: — ну вот, гляди, ежели меня ранят или убьют, тебе стрелять придется. Здесь нажал — это значит: с предохранителя на боевой поставил. Ну теперь, благословясь, начинаю. Вот, гляди, упер приклад в плечо, прицел установил: — четырнадцать — на тысячу четыреста, значит, **шагов стрелять будем — так. Сначала пробные выстрелы.**

Ты хорошо видишь? Гляди, где грязь вспархивать будет перед им, или за им?

Над ними свистали пули. Редкий артиллерийский огонь с большими промежутками посылал в зимнее синее небо белые дымки шрапнелей, оне лопались в небе, пули частым жестким горохом рассыпались по полю и долго гудел улетающий пустой стакан. И пули и шрапнели это были: — раны, мучения и смерть, но партизаны не думали об этом, они еще не понимали опасности.

— Кочет, а Кочет, — в полголоса говорил долговязый гимназист своему соседу, пухлому, розовому с румяными щеками гимназисту, выпускавшему второй патрон. — Не могу стрелять. Навел, а как увидал на мушке человек в черном шевелится. И не могу... Ведь это... убить его приходится..

— Ничего, Пепя. Со мною то же было. Навел, и страшно... Убить... А гляжу — и он в меня целит. И страх прошел. Выцелил, нажал спусковой крючок, ружье дернулось, в плечо ударило. Бо-ольно. Отдача значит. Мало прижал.

— Попал?

— Не знаю. Не видать. Только показалось мне: их пули стали реже свистать над нами.

— Ты стрелял раньше?

— Из винтовки? Никогда.

— И я тоже.

— Глупости, господа. Их бить надо. Их я не знаю, как уничтожать надо, — нервно заговорил студент с серым землистым лицом. — На моих глазах ворвались они в нашу усадьбу. Мать, старуху, схватили, сестру. Меня спрятали в поленице дров, а мне видно и слышно. „Где, старая“, говорят, „у тебя спрятаны пулеметы, ружья“... Обыск делали, а потом сестра в доме так страшно кричала, с полчаса, я думаю... И затихла. Мать вывели. Простоволосую, седую, шатается, бормочет что то, как сумасшедшая. Ее схватили и в колодезь бросили... Потом несут сестру. В разодранном платье, белая, в крови вся... Мертвая... и ее туда же... А я, сижу в дровах и думаю — только бы спастись. Не жизнь свою

спасти. Она мне теперь ни к чему. А отомстить.. Пепа, дайте ваши два патрона. Я за вас.

Он приложился и выпустил два выстрела.

— Кажется, попал. — хмуρο сказал он.

— Отходят! — воскликнул Петушок. — Бегут! Эх, конницы у нас нет! То-то погнали бы!

Противник скрылся за домами. Стрельба затихла с обеих сторон. Сражение кончилось. Партизаны сходились кучками и передавали новости, принесенные пришедшими под утро из Новочеркасска людьми.

— Нам, господа, два дня только бы продержаться, а там — победа! У Алексева в Ростове сорокатысячная офицерская добровольческая армия, он послал в Бессарабию, от туда идет генерал Щербачев с чехо-словаками.

— Господа, я сам видел в штабе обороны наклеена телеграмма только что полученная Калединым: „союзный флот прорвал Дарданеллы и спешит к Новороссийску”.

— Спешит к Новороссийску!.. Господа, сколько же это будет?

— Ну, считай сам! — Два дня от Константинополя до Новороссийска.

— За два дня не дойдут.

— Броненосцы то?

— Так, поди, с ними и транспорты с войсками.

— Черная пехота.

— Эти покажут красным!

— Вот, здорово.

— Нет, погоди. Скажем так: четыре дня до Новороссийска. Ну, день на выгрузку — пять. Два дня до Ростова. Еще недели... А у нас по тринадцать патронов!

— А добровольцы!

— А чехо-словаки!

Так верилось... Так хотелось верить, что кто то сильный, могучий. взрослый, пошел с ними, детьми, спасти Россию. Так не хотелось думать, что на всю Россию, что на Россию, на весь крещеный мир с его союзниками, нашлось только восемьсот юношей, кадет, студентов и гим-

назистов, принявших на себя славное имя замученного Голубовым Чернецова и пошедших умирать, как те триста спартанцев, о которых они учили в истории и писали в *extemporalia* на *ut* и на *postquam*....\*)

Опять, шелестя и коварно шипя, пронеслась шрапнель и лопнула совсем близко, позади собравшейся группы. И не успела молодежь что-либо сообразить, как подле них со страшным шумом ударила граната, раздался металлический оглушающий грохот разрыва и клубы темного вонючего дыма, комья земли, брызги воды и осколки неприятно шуршащие полетели фонтаном вверх. Кто то жалобно крикнул. Кочетов схватился за грудь и упал, рука его покрылась густою черною кровью.

— Господа! разойтись... В цепь!.. По окопу, — раздался взволнованный голос офицера.

— Носилки!..

— Кого... Кого?.. Много? — шептали побелевшими губами молодые люди.

— Двоих убило. Кочетова и Лаврова. Кадету одному ногу оторвало. Он и закричал, Шапкина в плечо ранило — и не пикнул.

— Как незаметно подкралась!

— Смотри! Опять идут! Густыми цепями!

— Прямо по цепи! — раздавалась команда, и после пролитой крови она звучала тверже, увереннее и жажда мести за убитых слышалась в голосе безусого офицера, — прицел двенадцать! По три патрона! Редко... Начинай.

Суетился Гришунов, ему помогал Петушок. Слышался взволнованный голос Гришунова:

--- С пулемета можно?

## Х.

К вечеру пришедшие из Новочеркаска люди принесли страшные известия.

---

\*) Упражнения на „чтобы“ и „после того как“.

Атаман Каледин застрелился... Он просил помощи для Дона у Добровольческой Армии. Корнилов ответил, что он держаться дальше в Ростове не может и что, если Дон хочет спастись, он должен дать ему казаков. Приказали генералу Богаевскому дать все, что он может на помощь Корнилову. У Богаевского нашлось всего восемь казаков. Алексеев и Корнилов решили идти на восток, там искать счастья и спасти офицеров для будущей Русской армии.

— Вот, господа, — говорил бледный растерянный юноша в полушубке и высоких сапогах — последний номер „Вольного Дона“. Вот статья Митрофана Богаевского.

...„Плакал хмурый, холодный день, а над Доном вал за валом медленно ползли свинцовые сине-черные тучи, и не летние грозы с теплым дождем они несли: зловещие, жуткие — тянулись они над Доном, и сулили ему горе, смерть и разорение“... — читал студент.

— И мы ничего не знали! — взволнованно сказал Гришунов.

— Читайте, Сетраков, — раздались голоса.

— „А эхо страшного выстрела уже гулко отдавалось по всему Дону, донским степям и рекам, и ликовал враг, и торжествовала буйная казачья молодежь, и лишь старые казачьи сердца чутко прислушивались к этому эху и недоброе почуяли они: донские казаки сами загубили своего лучшего рыцаря-казака: первого выборного атамана.

„Протяжно гудит старый соборный колокол: еще недавно звал он на вольный круг, а теперь, говорят, звонит он по душе Атамана Алексея Каледина; говорят и другое: что звонит колокол похоронный звон по донскому вольному казачеству.

„А по-над Доном, в час ночной, тихо реют тени прежних атаманов.

„Славных честью боевой“.

„В ночь с 29-го на 30-ое прибавилась еще одна тень, и алая кровь сочится у нее из сердца.

„Это тень атамана-мученика, Алексея Каледина“... — все, господа!..



длинного студента с землистым лицом, который поклялся мстить... Там, на Барочной, у самого спуска к Куричьей балке, живешь ты, моя милая, теплая, ласковая мама со своими заботами о курах, о индюках, с поисками квочки и думами о том, переживут ли зиму твои прекрасные персиковые деревья... Там в комнате с блестящим полом, натертым воском висит большой фотографический портрет отца, убитого в ту минуту, когда он брал австрийскую пушку. Там над портретом висит значек 'сотни, которою он командовал в бою и его георгиевский крест. А над крестом портрет Императора. Мама! не убирай его и тогда, когда придет... Там жил дед, и прадед построил этот дом еще при Платове. Уже ли никогда, никогда этого я не увижу, и те черные люди, что наступают теперь в сгущающемся сумраке, овладеют всем этим. А как же тогда ты, милая мама, как же вы, дама моего сердца с Рагной улицы и вы, милая Мариинка, сказавшая мне слово ласки? Как же корпус?... Мечь!.. Мечь!.."

— Нечестивые возникают, как трава, и делающие беззаконие цветут, чтобы исчезнуть на веки...

— Что ты Петушок? — отрываясь от дум своих, сказал Гришунов.

— Это деда говорил. Пусть возникают, как травы и пусть цветут. Это понимать надо — ибо исчезнут на веки!.. Гришунов — нам приказ есть отходить... По цепи передали. Давай последнюю ленту. Теперя они близко.

— Да, без прицела можно. На постоянном.

— Важно.

— А уволокешь пулемет то?

— Я то! Два уволоку, не то что один.

— Ишь, как бьет — вторая пуля подле. Пристрелялся... Видит.

— И все ничего. А ты по ему. Во имя Отца и Сына и Святого Духа.

Затрещал пулемет и сразу примолк залегший в пятистах шагах враг.

— А не ожидал! Ловко!

— Последние патроны.

— Идем, Гришунов. Вон наши по балке чернеют. Еле видеть.

— Хорошо. Волоки пулемет. А я ленты соберу, чтобы они неприятелю не достались.

— Опять палить стал, а то было перестал.

— Он, красногвардеец, то трусливый. Вот матросы, те побойчивее будут.

— Матрос, да казак — первые вояки! — горделиво сказал Петушок.

Черная ночь прикрыла их. Закат давно догорел и справа заволакивала зеленовато черная тьма хрустальное небо и ярко засветилась вечерняя звезда. Морозило и чуть потрескивал молодой ледок под ногами уходящей дружины. Сзади всех, нагоняя, шел торопливыми шагами Гришунов, весь увешанный лентами. Перед ним, согнувшись под лямкой, тащил пулемет Петушок. Пули щелкали кругом. Иная, сорвавшись на рикошете, долго пела в воздухе, уносясь в темнеющую даль. Красногвардейцы не посмели подняться и преследовать детей-партизан, но усилили свой огонь по звуку шагов и по тем темным теням, которые мерещились им в надвигающейся ночи.

— Петушок, ты что? Спотыкнулся, что ли?

— Так... Точно палкой кто по голове ахнул. Больно как!.. Света не вижу!

Петушок! Ты ранен?

— Н-не... Кажись... совсем... убит.

Гришунов постоял несколько секунд над убитым мальчиком. Так хотелось взять его и унести, чтобы не досталось тело его врагам. Рука Петушка разжалась и выпустила пулеметную лямку. Это движение мертвого тела напомнило Гришунову о главном его долге. „Обоих не унесешь”, подумал он. — „Наши далеко. Эх Петушок, Петушок, спи, дорогой!”

Гришунов взял лямку и потянул пулемет по скату балки вниз, туда, где слышался удаляющийся шорох шагов Чернецовской дружины.

На другой день около полудня дружина вошла в Новочеркасск. Никто не встретил ее и расходилась она по домам

в тяжелом сознании, что между нею и наступающим врагом уже никого нет больше.

9-го февраля на собрании у вновь избранного Атамана Назарова было решено уходить из Новочеркасска.

Снова забегали дружинники, собираясь в поход. Они уже шли не для того, чтобы защищать свои семьи и родные дома, а для того, чтобы спастись в широкой беспредельной степи.

— Э! Спастись и здесь можно! — говорили многие и не шли на призыв своих соратников.

12-го февраля, в 3 часа дня, потянулись через Дон, направляясь на Старочеркасскую станицу, дружины молодежи, офицеров и некоторых старых казаков. С ними, в коляске на паре лошадей, ехал сытый, круглый, черноусый генерал, — вновь избранный походный Атаман Попов. Всего вышло 1500 человек, пополам пехоты и конницы с пятью орудиями и 40 пулеметами. Это было все, что дало на свою защиту пятиmillionное население Дона с несколькими тысячами одних офицеров.

Атаман Назаров с Кругом остался в городе без всякой охраны.

**В 5 часов дня в Новочеркасск вошел Голубов, окруженный трубачами и казаками, а за ними черной лентой тянулись толпы матросов и красногвардейцев.**

По городу выкинули красные флаги. Толпы простого народа раболепно приветствовали новых властителей. После пятивекового свободного существования войско Донское перестало существовать и вместо него народилась „Донская советская республика федеративной социалистической России” — „Ды-сы-ры -фы-сы-ры” -- во главе с неграмотным Подтелковым.

Темная ночь спустилась над Доном. Пьяные ватаги искали по домам „кадетов” и убивали их на глазах матерей, убивали раненых по лазаретам, избивали офицеров на улице,

казнили Назарова, Волошинова, Исаева, Орлова, Рота и многих, многих других.

В маленьких хатах вдовы и матери тихо шептали побелевшими устами молитвы о мужьях и детях своих и поминали их и многих, многих иных мучеников „их же имена Ты носи“. И днем, и ночью — у Краснокутской рощи, у вокзала, просто на улице, гремели выстрелы и жители Новочеркаска знали, что это „самый свободный в мире народ“ избивает детей и образованных казаков.

Кровавый туман интернационала, носившийся над Россией полз по Дону туманя головы и новые и новые могилы росли за кладбищем на песчаном просторе.

...„А по-над Доном, в час ночной, тихо реют тени прежних атаманов, славных честью боевой“...

## XL

Солнечный день. Тепло, пахнет весной. В голубом просторе по весеннему заливаются жаворонки. Ночью был мороз, но теперь развезло и по широкому черному шляху, вдоль убегающей вдаль линии телеграфа всюду видны блестящие на солнце лужи и жирные колени, полные водою.

Вдоль шляха, прямо по степи, к колонне по отделениям, круто, молодецки подобрав приклады и подтянув штыки, бодро, в ногу движется узкая лента людей, одетых в серые рубахи со скатанными по старому шинелями. Издали глядя на нее, можно забыть, что была в России революция, что свален, повергнут в грязь и заплеван двуглавый орел, что избиты офицеры, запоганено сердце Русского человека и в толпы грязных „товарищей“ обращена доблестная Российская Армия. Так ровно движется широким размашистым пехотным шагом эта колонна, так выравнены штыки, так одинаковы дистанции между отделениями и взводами, так отбиты рота от роты, что сердце радуется, глядя на них.

Не старая Русская песня, солдатская песня, поминающая подвиги дедов и славу Царскую, но песня новая, недавно придуманная, к чести и славе зовущая, несется из са-

мой середины колонны. Не солдатские, грубые голоса ее поют, но поют голоса молодежи, знакомой с нотами и умеющей и в простую маршевую песню вложить музыкальность.

Дружно, Корниловцы, в ногу!  
С нами Корнилов идет.  
Спасет он поверьте, отчизну.  
Не выдаст он Русский народ:  
Корнилова носим мы имя.  
Послужим же честно ему.  
Мы доблестью нашей поможем.  
Спасти от позора страну!

В солдатских рядах, с винтовкой на плече, мерно качаясь под звуки песни, идут Павлик и Ника Полежаевы, а рядом с ними на месте отделенного начальника Ермолов. Обветренные исхудалые лица полны решимости и глаза смотрят смело и гордо. Не у всей роты высокие сапоги, многие офицеры-солдаты идут в обмотках, у многих разорвались головки и ноги обернуты тряпками. Бедно одет полк, но чисто. Каждая пряжка лежит на месте и отсутствие однообразия обмундирования восполняется однообразием выправки, шага и одинаковым одушевлением молодых лиц.

Это все, или старые кадровые офицеры, за плечами которых семь лет муштры кадетского корпуса и два года военного училища, или кадеты, или юнкера. Если и попадетсЯ в их рядах вчерашний студент, то и он уже принял выправку, он уже подтянулся и на весь воинский обиход, включая и смерть и раны, смотрит такими же простыми ясными глазами, как юнкера и кадеты.

Издали, сзади колонны, показался Русский флаг, значек главнокомандующего. На легком соловом коне сидел загорелый, исхудалый человек с темными восторженными глазами. Сзади него на некрупной казачьей лошади, в серой, по кабардински сдавленной спереди, широкой папахе, устало опустившись в седло, ехал полный генерал с седыми волосами, черными бровями и усами над маленькой седеющей бородкой. Он лениво смотрел по сторонам и изредка гримаса досады прорезывала его красивое бледное лицо. Это был

Деникин, правая рука Корнилова по организации армии и кумир офицерской молодежи после страстной горячей речи в защиту офицеров и армии, смело сказанной им на офицерском съезде. Полный человек в коротком штатском пальто, со щеками, густо заросшими седою щетиною и с темными блестящими глазами ехал в свите Корнилова — это был генерал Лукомский... Живописная красивая фигура молодца-текинца офицера, ординарца Корнилова, в пестром халате с тюрбаном чалмою на голове резко выделялась среди серых шинелей. Прямой, застывший в неподвижной позе генерал Романовский и рядом ласково улыбающийся с белым, как у монаха лицом и резко оттененными черными усами и волосами, полнеющий, несмотря на лишения похода, ехал генерал Богаевский, брат донского Златоуста Митрофана Петровича, семь месяцев чаровавшего Донской Круг и Правительство красивыми певучими речами. Несколько офицеров на разномастных конях, полусотня донского офицерского конвоя и несколько текинцев красивой группой сопровождали Корнилова.

Они ехали куда то вперед свободно, просторною рысью, прямо по степи, поросшей бурьянами и их движение в солнечных лучах, легкое, стремительное, звало и полки вперед. Невольно все головы Корниловского полка повернулись туда, где ехал Корнилов со свитой и молодые глаза заблестели восторгом.

— Наш Корнилов! — раздалось по рядам.

Он вел их по степной пустыне, как водили племена и народы, как водили войска герои древности. Он был Моисеем, он был Ксенофонтом и вряд ли Анабазис 10 000 греков в Малой Азии был труднее этого тяжелого скитания офицеров и детей по Прикаспийским степям.

Куда он вел и зачем?

В только что выпущенной декларации Добровольческой Армии об основных ее задачах Корнилов писал:

„Люди, отдающие себе отчет в том, что значит ожидать благодеяний от немцев, правильно учитывают, что единственное наше спасение: — держаться наших союзников”.

Он ненавидел немцев и эту ненависть к ним и он, и окружающие его старались внушить всему составу армии. Он верил в союзников, он верил, что французы не забыли миллионных жертв, принесенных Императорскою Армиею для спасения Парижа и Вердена, как ключа к Парижу, в Восточной Пруссии, на полях Варшавы, в Галиции и под Луцком. Он знал, что за эти страшные поражения, нанесенные германской и австрийской армиям немцы должны его ненавидеть, а союзники должны ему помочь. Он не сомневался в победе союзников над немцами и в помощи их Российской Армии, чтобы вместе с союзниками восстановить Россию и порядок, который он хотел водворить в августе, когда шел арестовать Керенского.

На западе были немцы. Они заключили в Бресте мир с главверхом Крыленко и евреи Иоффе и Карахан продавали им Россию. Они методично и беспрепятственно входили в вековые Русския земли, они занимали Псков, угрожая Петербургу, они входили в Украину и приближались к Донскому войску.

Тогда, когда Крыленко отдал приказ: — „с казаками борьба ожесточеннее, нежели с врагом внешним“ — Корнилов смотрел на большевиков с их Крыленками, Иоффе, Бонч-Бруевичами, Троцкими и Лениными лишь, как на орудие немцев и полагал главную борьбу не с ними, а с немцами. Большевиков он рассматривал только, как изменников, изменивших России и предававших ее врагу, а потому подлежащих простому уничтожению, как уничтожается на войне всякий, предавшийся врагу. Корнилов понимал, что с четырьмя тысячами офицеров и юнкеров, плохо вооруженных, обремененных громадным обозом с больными и ранеными, с гражданскими беженцами, он не может воевать с Германскою императорскою и королевскою армией и он уходил туда, где бы можно было спокойно отдохнуть, оправиться и выждать победы союзников, их настоящей помощи и отрезвления Русского народа. Он шел от немцев. Немцы шли с запада — он шел на восток. Никто не знал его планов, никого он не посвящал в свои вечерние думы, когда где-либо в маленькой

казачьей хате, разложив карту на столе и засветив свечу он смотрел на нее узкими косыми блестящими глазами. Перед ним открывался тот широкий проход из Азии в Европу, по которому двигались войска Тамерлана, по которому шел Чингис-Хан. Годы молодости вспоминались ему, пустыни и горы красивого знойного Семиречья, полный поэтической грусти Ташкент, земной рай — благодатная Фергана и волшебная сказка мира пестрая Индия. Все это ему с детства было знакомо. Все это было родное ему. Там он мог соединиться с англичанами и образовать с ними вместе новый восточный фронт, выдвинувшись к Уральскому хребту, к Волге. О! все равно где, но только драться с немцами и победить, победить их во что бы то ни стало!

Он не верил солдатам и мало верил казакам. Он помнил, как казаки III конного корпуса и туземцы предали его Керенскому, он помнил, как в Быхове солдатская толпа кидала в него камнями и грязью и осыпала ругательствами. Он прошел Голгофу крестного пути Русского офицерства, а такие вещи не забываются и не прощаются. Он верил только в офицеров. Он считал, что железною рукою беспощадной мести и расправы со всеми изменниками только и можно восстановить порядок, заставить повиноваться серое бессмысленное стадо казаков и солдат и спасти Россию. А для этого надо было ждать где-то, где бы можно было ждать, или того времени, когда союзники придут к нему на помощь или самому искать этих союзников — в Персии, в Индии, где угодно. Вся Ставка его была на союзников и до дня соединения с ними надо было во что бы то ни стало спасти и сохранить ядро Российской армии: — ее офицеров.

Уже давно в сизом мареве дымящейся весенними испарениями степи исчез и растаял значок Русский и группа всадников стала казаться темным пятнышком около колонны авангарда, а Ермолов все смотрел восторженными глазами вдаль, и ему все казалось, что он видит смуглое, загорелое, с узкими прищуренными глазами, незабываемое лицо, низко опущенные на губы темные усы и легкую посадку этого маленького человека.

Он верил, как верили и все окружающие его офицеры полка, что Корнилов спасет Россию. Может быть ценою их молодых жизней, — это все равно, — но спасет ее.

И, как бы отвечая на его мысли, в первом взводе молодой сильный голос завел Добровольческую песню:

Вместе пойдем мы  
За Русь святую!  
И все прольем мы  
Кровь молодую!  
Близко окопы...  
Трещат пулеметы..

„Как спасет Корнилов? Корнилов это знает. Он один“.., думал Ермолов. „Ведь не может же быть, чтобы вечно Русские люди были зверями. Ведь были же у него, тогда, под двуглавым орлом, в Мороченском полку, эти славные милые люди. Разве не он приходил ночью в окопы и видел коченеющего на стуже часового, напряженно глядящего вдаль. Он говорил ему — „Байков, я пошлю тебе смену!“ — и слышал бодрый ответ: - - „ничего, ваше благородие, достояю и так!“ — Разве не ему рассказывал убитый солдатами же Козлов о подвиге Железкина в бою под Новым Корчиным. Что же **сталось с ними? Куда же девались они? Они с ума сопли**, они одурели от речей, нелепых приказов, издаваемых штатскими главковерхами, от митингов и съездов, их, как быков, разъярили красными знаменами, но, когда увидят они родной Русский бело-сине-красный флаг — они поймут значение России и вернуться к ним. Там, — впереди, — как говорят жители, окопались против них полк 39-й пехотной дивизии и штаб артиллерийской бригады. Ведь не встретят же они, эти солдаты, уставшие от боев на Кавказском фронте, их огнем. Придут переговорщики, они переговорят, узнают благородные цели Корнилова, увидят его, а когда увидят, они не смогут не полюбить его и они сольются с нами. И так **от села к селу, увеличиваясь в росте, будет восстанавливаться** старая Русская Армия и постепенно завернет на север и вдоль по Волге, по историческому Русскому пути, пойдет освобождать Россию от насильников большевиков”.

## От Двуглавого Орла к красному знамени

---

Молодой хор уже подхватил запев и дружно раздавалась по широкой степи, отвечая мыслям Ермолова лихая песня:

Вместе пойдем мы  
За Русь святую!

„Как снежный ком будет расти Русская Армия, восстанавливаться старые полки с их вековыми боевыми рыцарскими традициями”.

„А что заменит алое знамя грабежа, насилия и крови?”  
„Учредительное собрание... Республика...”

И все прольем мы  
Кровь молодую!

гремел хор.

„За Учредительное Собрание? За Республику?”

Близко окопы...  
Трещат пулеметы...

-- Строй взводы! -- слышна впереди команда. Ряд серых спин, почерневших от пота заслоняет горизонт и то место, где виднелось темное пятнышко на степи: — Корнилов со свитой. Второе отделение, твердо отбивая ногу, подходит вплотную к Ермолову. У правофлангового пожилого капитана с узким и плоским лицом глаза смотрят сосредоточенно вдаль и в них застыло величаво молчаливое ожидание боя и смерти. Он коснулся своим локтем локтя Ермолова и они пошли рядом.

-- Поротно! в две линии! — кричит офицер, едущий на маленькой крестьянской лошадке, а сам слушает, что говорит ему, отрывая руки от козырька, с аффектированным чиновничьим почетом, подлетевший к нему на статном коне молодой кавалерийский офицер.

Оттуда, где было на степи пятно Корниловской свиты и где тоненькой змейкой вилась колонна авангардного полка, слышались резкие короткие удары одиночных ружейных выстрелов и конный полк рысью пошел влево, удаляясь от дороги.

Думать было некогда, надо было действовать.

## ХII.

Военный глаз ожидал за стройными колоннами пехоты увидеть маленькие аккуратные патронные ящики с красными флажками на них, за ними длинный ряд лазаретных двуколок с белыми навесами и алым крестом, потом двуколки и **небольшое число парных повозок штатского обоза, строго** выравненных, сопровождаемых жидкою цепью обозного караула, но вместо этого он видел за маленькими частями армии, не превышавшей численностью пехотного полка военного времени, целое море в несколько сот повозок. Запряженные крестьянскими и казачьими лошадьми, круторогими серыми громадными волами, где в два, где в три ряда, по широкому шляхту и прямо по степи они медленно тянулись за полками и даже не военному наблюдателю становилось ясно, что обоз съедал армию и не обоз был для армии, а армия была для обоза, служила его прикрытием.

Около половины повозок были заняты ранеными и больными добровольцами, вывезенными из Ростова. Корнилов не позволил оставить в Ростове на „милость победителей” ни одного офицера, ни одного солдата своей армии. Все знали, что „милость победителя” — были издевательства, мучения и лютая смерть.

При них, пешком, на подводах, или верхом двигались чины врачебного персонала и сестры милосердия. Одни были одеты по форме, с передниками с алыми крестами, другие были в своих шубках, пальто и городских шляпках. С ними ехали жены, сестры и дети офицеров, которых тоже нельзя было бросить, так как и их ожидали издевательства и смерть.

Всем этим громадным транспортом заведывал, волнуясь и сердясь, высокий, исхудалый, бритый, без усов и бороды, человек, с издерганными нервами, страдающий ранами и болями каждого офицера и не находящий себе покоя. Это был Алексей Алексеевич Суворин, автор книги „О новом человеке”, верящий в индийскую мудрость и не могший вместить всей простоты ужаса войны, человеческих мучений и смерти.

При обозе, в извозчицкой пролетке, обложенной кулками и чемоданами с французскою казною, ехал исхудалый и сморщившийся инициатор создания Добровольческой Армии — генерал Алексеев. У него были свои думы и свои планы кампании. Он тоже верил в союзников, но его вера не была так страстна и сильна, как у Корнилова. Его уже постигли разочарования. Он видел равнодушие к судьбам России и эгоизм чехо-словаков, он видел, как миллионеры и тузы Ростова жертвовали рубли, приберегая миллионы для встречи победителей, он перенес всю горечь отказа Каледина дать из складов обмундирование и снаряжение для добровольцев. Он понимал, что Каледин был связан по рукам и по ногам Правительством и кругом, где шумел беспринципный Агеев и где большинство держалось мудрого правила: — пригребай к своему берегу, — но простить этого Каледина он не мог.

Алексеев менее враждебно смотрел на немцев и думал уже, что все равно, кто бы ни помог России и ее добровольческой армии, лишь бы помог.

Он думал о Кубани и казачестве. Прилежный ученик Академии, он считал, что база будущей России где то, в пространстве беспредельных степей Азии и даже Индии невозможна. Он не искал рукавиц кругом себя, когда они были за поясом. Едучи в обозе, беседуя по стариковски со стариками казаками и в Ольгинской, и в Хомутовской, и в Кагальницкой, и в Мечетинской — он убеждался, что казачество в корне своем было против большевиков. Если в Ольгинской их провожали выстрелами, а под Кагальницкой был и целый бой, в котором казаки позорно держали нейтралитет, то это было поверхностное озорство, принесенное строевыми казаками с фронта, усталость и боязнь серой, тупой и жестокой солдатской массы. Алексеев полагал создать базу на Кубани и на Дону, а там, что Бог даст. Москва и Ростов, союзники и чехо-словаки не исполнили своих обещаний. Армия должна была опереться на население и таким населением Алексееву казалось казачество с его тучными плодородными землями. И путь свой Алексеев держал опре-

деленно: — на Екатеринодар. Но так же, как и Корнилов, ни дум своих, ни планов он никому не говорил.

Кроме раненых и семей офицеров-добровольцев, в обозе, в экипажах, дрендулетах, на линейках, на подводах, а кто и пешком шли все те, кто боялся остаться в Ростове и Новочеркасске, опасаясь мести большевиков за прошлую политическую деятельность, кто бежал от кровавого ужаса Петербурга, Москвы, Харькова и Киева на Дон, а с Дона, при приближении большевиков, был готов бежать куда угодно, лишь бы быть в привычном обществе, лишь бы не быть принужденным жить по указке хама. На подводе ехал со своею семьею член четырех Государственных Дум и председатель двух М. В. Родзянко, шли и ехали многие из тех, кто в кровавые дни „безкровной“ мартовской революции своими речами и статьями валил Российскую Императорскую Армию, поносил офицеров, а теперь примазался к добровольцам, превозносил доблесть их подвига и пел гимны белизне и чистоте идеи добровольческой армии.

### ХIII.

Хмурым февральским вечером, когда одна часть Ростова, платя бешеные деньги за подводы и сани, вдруг устремилась на мост через Дон, а другая торопливо развешивала запрятанные красные флаги, остатки празднования „великой безкровной“, когда махровым цветом стали распускаться подлость и предательство, когда по Аксайскому тракту печально уходили небольшие дружины добровольцев, а по предместью вспыхивала неизвестно кем поднятая ружейная стрельба, Оля Полежаева, проводив братьев, вышла на улицу с небольшою котомкою за плечами.

В сером мареве клубящихся туманом зимних сумерок тускло маячили тени уходящих полков. Глухо слышался мерный топот ног и тяжелое гроыхание немногих пушек. Оля пошла за ними. За эти дни скитаний по России она усвоила широкий, свободный, вымаханый шаг, научилась разворачивать носки, чтобы не скользить на липкой черноземной

грязи. Не поход ее страшил. А страшило то, что башмаки отказывались служить, что на подошве появились предательские дырки, в которые набивались снег и грязь. Куда идут? Сколько впереди предстоит похода? Никто не знал... Оля шагала по тротуару, стараясь не терять из вида колонны, где шли ее братья. Но вскоре всю улицу запрудили повозки **обоза. Поперек шел какой то госпиталь. Мимо Оли, загорая** живая ей путь, тянулись низкие обывательские подводы и в них видны были молчаливо лежащая фигуры с забинтованными белыми головами. Потом проехало несколько извозчиков. Пьяный офицер обнимал на одном из них какую то женщину и что то хрипло кричал, за ними тянулись подводы с вещами. Оля с удивлением увидела **пьянино, стоявшее поперек подводы и мягкие стулики с позолотой, наваленные** за ним. Прошла пешком чья то семья. Господин в барашковой шапке колпаком с дамой в жакете вели двух маленьких детей. Дама плакала и говорила -- „ни за что, ни за что! лучше погибнем в степи!“

Оля несколько раз порывалась пройти через поток подвод, но всякий раз новое препятствие преграждало ей путь.

Проехал рысью офицер и кричал на подводы, чтобы они скорее ехали. Сумерки сгустились. Тускло мерцали редкие фонари по Нахичевани. Оля совсем потеряла направление, по которому идти и первый раз страх закрался в ее душу. Шли по всем улицам и трудно было разобратить, куда надо идти из обширного города. Широкая телега, запряженная ладною вороною лошастью, остановилась перед нею. При гусклом свете скупо горящего фонаря Оля увидела, что подвода завалена чемоданами и увязками, что на ней сидит какая то дама в шляпке и платке и рядом офицер в чистой шинели с блестящими погонами, а лошастью правит студент в черном пальто с повязкой Красного Креста на рукаве.

Оля несмело подошла к ним.

— Господа, — сказала она дрожащим голосом, -- вы куда едете?

Дама и офицер смотрели на нее и ничего не отвечали. Студент придержал хотевшую тронуть лошадь и ответил.

— За армией... А вы куда?

— Ах Боже мой! — воскликнула Оля. — И мне нужно за армией. У меня там два брата. Я с ними. Из Петербурга.

То, что она упомянула Петербург, произвело впечатление на офицера и его спутницу и они переглянулись.

— Вы кто же будете, моя милая? — снисходительно спросила дама.

— Я — Полежаева, Ольга, дочь камер-юнкера.

Оля за этот год существования свободной Российской республики, где чины и сословия были уничтожены, научилась ценить и понимать все значение придворного звания своего отца.

— А... — сказал офицер, — это тех Полежаевых, у которых своя дача в Царском селе.

— Да, — сказала Оля, — на Павловском шоссе.

— Садитесь, мы вас подвезем, — сказал офицер.

Оля взобралась на подводу и устроилась рядом со студентом, лицом к офицеру, спиной к лошади.

Сначала молчали. Оля смотрела на сытое холеное лицо офицера, на его новенькую, видно здесь в Ростове сшитую, или купленную шинель с добровольческой трехцветной нашивкой и не понимала, почему он не идет там же, где шли ее братья, где шел Ермолов и все другие офицеры.

Поздно ночью размещались в Аксайской станице. Спутники Оли пригласили ее пить чай. Офицер представился ей и представил ее своей даме. Он был поручиком N-го гусарского полка Дмитрием Дмитриевичем Катовым.

— Адъютант генерала Пестрецова, — гордо сказал он. — Где-то он? Говорят расстрелян. Я оставил его еще в июле прошлого года, когда поехал лечиться в Кисловодск. — Вера, — обратился он к даме, — Ольга Николаевна Полежаева знала нашего милого Якова Петровича.

Ночевали в одной избе. Студент, по фамилии Погорельский, имени его никто не знал, был на все руки мастер. Он ходил за лошадью, он наставлял самовар, ублажал размо-

рившуюся Веру Митрофановну, услуживал Катову и бегал в соседние избы перевязывать раненых. Он был медик второго курса и горел желанием всего себя отдать на помощь ближним.

На утро выступили, как знакомые, и казалось естественным, что у Оли есть свое место на собственной подводе Катовых, что Погорельский неумело запрягал и уже в упряжи поил сытую круглую лошадь, что он таскал тяжелые увязки, а Катов сидел на крылечке казачьей хаты и меланхолично курил папиросу, пуская кольца дыма к синющему на востоке небу...

#### XIV.

Дорогой Катов спорил с Погорельским. Он говорил ему в спину, а смотрел прямо в лицо Оли, в ее карие, огнем горящие глазки и на прочную упругость ее загорелой, покрытой пушком щеки.

Где то в отдалении мерным ритмом звучала песня добровольцев и Оле хотелось ее слушать, а Катов говорил, стараясь обратить на себя внимание Оли.

— Странно, Погорельский, — говорил он, мы оба интеллигенты, вы моложе меня, медик, а я студент юрист, случайно сделавшийся офицером, и все таки мы друг друга не понимаем? В большевизме есть своя правда, ее надо только уловить.

— Какая уж, Дмитрий Дмитриевич, правда. Достаточно мы повидали их в Ростове. Один разбой и дикость, — не оборачиваясь от лошади сказал Погорельский.

— Э, нет, нет... Вы знаете. Конечно, Ленин и Троцкий это не то... Это случайность. Но никогда Россия не вернется к старому. Я знаю хорошо мужика и народ. Ему эти капитан-исправники и урядники осточертели. Русский народ — загадка. Он еще свое слово скажет. Молодая нация и потому здоровая. Затрещит старушка Европа, когда услышит это слово, — говорил Катов, любуясь сам собою и своим либерализмом.

— Это что говорить! Громить умеем, как никто. Пустое место оставим от культуры и подсолнухами заплоем, — хмуро сказал Погорельский.

— Э... тэ, тэ... Нет, батюшка, ... старый мир отжил свой век и большевизм это муки рождения нового. Все новое: — мораль новая, государственный строй новый, все, все. **язык, буквы, стихосложение, искусство: архитектура, живопись, скульптура, музыка, танцы** --- все старые музы на смарку. Состарилась матушка Терпсихора, седые волосы у Клио — на покой, милые, в богадельню... Вот, как я понимаю углубление революции.

— Да ведь, Дмитрий Дмитриевич, нового то ничего не придумашь. Мир стар и история повторяется. Не на головах же ходить.

— А почему нет?.. — горячо воскликнул Катов. ... Не **прямо, понятно, на головах, но все таки послушайте: куда** годится теперь христианская мораль?

— А как же без нее то?

— Масонство... Или, например, сатанизм. Поклонение дьяволу... Или вот еще это таинственное поклонение дада, дадаизм. А? Что? Не слышали?

— Нет, не слышал. Да вы то знаете разве?

— Положим, не знаю. А только. Новое. Я понимаю это стремление к уничтожению государства: -- весь мир, все человечество -- государство.

— **Да ведь это не вперед, а назад,** — сказал Погорельский.

— Как так?

— Ну, конечно, обращение в животных, у животных тоже государств нет, — сказал Погорельский.

— Мы уже часть пути прошли, --- с увлечением говорил Катов. — Поставьте рядом „Явление Христа народу” Иванова, или Брюлловское „Разрушение Помпеи” с „Убийством сына Иваном Грозным” Репина и вы поймете, что отсюда шаг — и мы подойдем к декадентам, а потом и к кубизму.

— Большой шаг, — сказал Погорельский.

— А эти новые поэты! А эти слова. Мы начали: главно-верх, комкор, начдив, — они продолжили: — совдеп, совнарком, исполком, — ей Богу, будущее принадлежит языку короткому. Целые фразы будут лепиться из нескольких букв.

— Сумасшествие...

Олю оскорбляли эти нелепые мысли с оправданием большевиков, а, главное, взгляды нездорового любопытства, которыми шарил по ней Катов.

Кругом была покрытая снегом степь и в ясном морозном воздухе, пропитанном золотом солнечных лучей гулко и звонко раздавался шум идущего войска. Оля видела вдали Русский флаг Корнилова, видела группы всадников, темные колонны идущих полков и ее сердце трепетало от любви к той Армии, над которой витали святые для нее эмблемы Родины. Катов был ей непонятен. Офицер, но почему не в строю? Офицер, но почему его речь такая странная, не офицерская?.. Он оказал ей приют и гостеприимство, но почему он ей противен и она боится и презирает его?

Она старалась, чтобы в узком кузове подводы ее платье не касалось его, чтобы колени их не сталкивались. Она жала к его жене. Вера Митрофановна молчала. Оля думала, что за взгляды, что за понятия у этого офицера, да и офицер ли он? Как попал он туда, куда шли только те, для кого Родина была выше всего

Она подняла свои большие глаза и, глядя прямо в лицо Катову, спросила его:

— Почему вы, Дмитрий Дмитриевич, пошли в Добровольческую Армию?

— Я не пошел в нее, а меня пошли в нее, — засмеявшись сказал Катов. Я еще никуда не записался. Я пока никто. Но, судите сами, куда же мне было деваться?

Оля не сказала ничего.

На ночлеге, Катов вытащил гитару и запел так странно звучащий в обстановке казачьей хаты и военного бивака сладострастный романс. Оля встала и направилась к двери.

— Вам не нравится мое пение, Ольга Николаевна, — сказал Катов.

Оля не отвечала. Она точно не слышала вопроса. Катов повторил его.

Ясные глаза Оли повернулись на Катова. Она точно в первый раз заметила высокий рост и статную фигуру хорошо одетого поручика.

— Скажите, пожалуйста, Дмитрий Дмитриевич, — сказала она, — почему вы не в строю?

— Я еще не разобрался в политических настроениях полков и потому не избрал, куда мне идти, — отвечал Катов.

— А! — сказала Оля и взялась за дверь.

— А потом у меня порок сердца. Миокардит. Я не могу служить, — договорил Катов.

Оля проворно вышла из хаты. Ей было душно. Сердце шибко колотилось в груди.

## XV.

Свежий морозный ветер дул со степи. Солнце ярко блестело на замерзших лужах, на далекой речке, прихотливо извивающейся по балке, поросшей кустарником. Каждый клочок не стаявшего снега говорил о прошедшей зиме и от свежести ветра пахло весной.

Оля почему то вспомнила такой же свежий, с морозом, ветер в старом Петербурге. Только там это бывало лишь в марте, когда во все немецкие булочные прилетали жаворонки. Одни большие, с распластанными крыльями и длинными хвостами, с маленькими головками и глазами из коринки — пятикопеечные, другие маленькие, с восьмеркой из теста вместо туловища — полуторакоепечные. С войны их не было. Немецкие булочные закрылись. В Петербурге в эти утренние часы было тихо и печально. Не нарушая тишины, но подчеркивая ее, звонил великопостный перезвон. На широкой Кабинетской улице было пустынно. Лужи подмерзли, черные с белыми пузырями, и так славно хрустели, когда наступишь на них каблучком. Оля ходила такими утрами в монастыр-

ское подворье на углу Кабинетской и Звенигородской, поднималась во второй этаж в маленькую церковь. Сумрачно смотрели со стен иконы, быстро читал часы дьячок, а в окна лились солнечные лучи и в открытую форточку слышалось чириканье воробьев, гул и звонки трамвая и цоканье копыт по обнаженной мостовой. Выходил старый иеромонах в черной рясе и тускло блестящей серебром эпитрахили и слышались смиренные слова: „Господи и Владыко живота моего!“ Тогда не ценила Оля эту тишину, эту ясную радость весны, утра, мороза и солнца, темной церкви и тихой молитвы.

„Где все это теперь? Кто отнял все это? И весну, и солнце, и ветер, обжигающий поцелуями степи отнял, — потому что не до того теперь.“

Гулко и часто гудят пушки. И совсем недалеко от обоза. Обоз стоит в степи, растянувшись по бугру и ветер треплет белые флаги Красного Креста. Степь пологим скатом спускается к речке и ясно видны: степная речушка, подернутая тонким льдом, противоположные берега балки, узкая гребля через реку, и за нею, колеблющееся в тумане утра широко раскинувшееся село с белыми мазанками хат с соломенными и железными крышами, как паутиной обтянутыми тонким переплетом ветвей фруктовых садов и высоких пирамидальных тополей. Выстрелы большевистской артиллерии раздаются из-за села и оттуда, гудя, несутся снаряды и лопаются над пологим скатом.

В мареве дали, пронизанной золотом солнечных лучей, покрытой легким паром, поднимающимся от земли, маячат темные фигуры жидкой цепи добровольческих рот. Добровольцы идут, равняясь и издали кажется — в ногу, не ложась. Они не стреляют. То тут, то там, над ними и сзади вспыхивают белыми шариками дымки разрывающихся прапнелей. От села трещит пулемет, два пулемета работают над греблей у дорожного моста и над всем селом тарахтят, не смолкая, ружья.

У обоза, вылезши на бугор, поднимаясь на носки, прикрывая глаза от солнца щитком ладони смотрят вдаль жен-

щины, старики, дети. Раненые привстали на телегах и смывают все туда же, где наступают на село их братья, мужья, отцы и сыновья. Катов, взобравшись на телегу, глядит в бинокль и восторженным голосом передает о том, что видит. Недалеко от него стоят Оля и Погорельский. Они только что перевязали раненого в плечо добровольца и он затих, лежа на земле под шинелью.

Шагах в тридцати от Оли, стоит маленькая группа. Оттуда доносятся воркующие мягким баском слова молитвы и истерические вопли. Возчики обоза принесли туда двух убитых добровольцев и там мать плачет над сыном и вдова над убитым мужем. И плач, и слова молитвы, и накрытые шинелями покойники, которых сейчас будут хоронить без гробов, в черной земле глухой степи, с которых снимут сапоги и те части одежды, которые уцелели, потому что они нужны живым, придают особенную значительность ровному и быстрому, молчаливому движению добровольческих цепей.

— Хорошо идут! — говорит Погорельский. Не стреляют.

— Стрелять нельзя, — слабым голосом отзывается лежащий доброволец, — у нас всего по тридцати патронов роздано... Возьмем и так! — со вздохом говорит он.

— Что, очень больно? — спрашивает Оля.

— Больно, ничего, — поднимая на Олю большие лихорадочные глаза говорит доброволец. — Обидно, что меня там не будет когда наши село брать будут. Я бы им задал, негодьям, хриstopродавцам!

— К реке подходят, — восторженно говорит Катов. — Лед то, поди, тонкий, как переходить будет.

— Ах, упал один, — болезненно сжимая руку Оли, вскрикивает Вера Митрофановна.

— И то упал, — раздаются голоса. — Упал...

— Нет, встал. Идет... Снова упал... Ах! Боже мой! Что же это!.. Опять встал. Нет... лежит... Не двигается.

— Господи! Да что же наши не стреляют. Неужели же патронов нет!

Тяжело ковыляя, опираясь на ружье, с поджатой левой ногой, ступня и низ которой обмотаны окровленной тряпкой, оставляя за собою по сухой траве кровавый след, к обозу подошел пожилой казак. Лицо его было бледно, искажено мукой, но глаза горели восторгом.

— Братцы! — воскликнул он, оглядывая собравшихся у подвод, — православные! — Там кажинный человек дорог, кажинный человек нужен... Я бы шел, да вишь ты, проклятая, как ногу повредила. Ходу дать не могу настоящего. Православные! Бери ружье, патроны, и ай-да на подмогу. Их там многне тысячи! Нас самая капля... Истинно, каждый человек нужен. У нас в резерве всего пятнадцать человек осталось!

Кругом молчали. Катов сосредоточенно, как будто бы это была его обязанность, разглядывал в бинокль. Раненые притихли. Истерично плакали женщины над убитыми. Высоко в небе два жаворонка пели песню любви и счастья.

Погорельский, сидевший над раненым офицером и щупавший ему пульс, вдруг порывисто вскочил и бросился к казаку.

— Давай винтовку! — крикнул он. — Давай патроны! Сестры! перевяжите раненого. Я сейчас и вернусь, как село возьмем.

— Возьмем, родный! Возьмем! — говорил казак, садясь на землю и отдавая залитую кровью винтовку. — Ты не сумлевайся. Моя это кровь. Христианская! Не их, поганцев.

Лежавший, раненый в предплечье офицер, тяжело поднялся, взял винтовку, положенную на подводку и пошел нетвердыми шагами вниз по спуску.

— Куда вы, Ермолов? — крикнула Оля.

— И правда, Ольга Николаевна, — ответил раненый, — там теперь каждый штык на вес золота.

Катов, смотревший все так же в бинокль, вдруг вскрикнул:

— Ах, Боже мой... Лед ломается! По горло в воде идут! Воображаю, как холодно! В село входят.

Свежий ветер, дувший с села, донес негромкое, дружное ура.

— Смотрите, смотрите, господа, с фланга из балки идут. Вот показались... Еще... еще... Как красиво!... Это Корниловцы... Там и Корнилов!.. Как хорошо!

— А вы, Дмитрий Дмитриевич, — блестя глазами и глядя в упор на Катова, сказала Оля. — Вы, то, что же!

Катов отнял бинокль от глаз и посмотрел сверху вниз на девушку. Никогда еще он не видел такой красоты. Ветер растрепал ее волосы, выбил их волнистые пряди из-под платка, и она стояла против него в венце черных волос, с громадными, сверкающими возмущением глазами на исхудалом, загорелом лице.

— Я что-ж, растерявшись, проговорил Катов. — Ну, куда же я пойду! Куда я годен.

— Вы, офицер, — задыхаясь говорила Оля, сама себя не помня, — вы георгиевский кавалер, правда „товарищеского” креста. Что же вы!.. боитесь?..

Но Катов уже оправился.

— Нельзя, Ольга Николаевна, чтобы все офицеры погибли. Что же тогда с Россией то станет? Вот Царское правительство не щадило офицеров и развалилась армия.

— Молчите! — крикнула Оля. — Ради Бога молчите!.. Вы просто... — шкурник.

— Па-а-звольте, — начал было Катов, но, оглянувшись кругом, увидел устремленные на него глаза раненых и больных. Он спрыгнул с подводы и пошел в сторону.

Юноша донец подскакал в это время на хрипящей и тяжело идущей по степи лошади к обозу и радостно крикнул:

— Обозу приказано двигаться на ночлег вперед. Наши взяли селение!

Все обратились к нему.

— Там их набили, страсть... — задыхаясь говорил он. — Пятьсот, не то шестьсот одних убитых! Пленных, почитай, что и не брали. Что ж их брать-то. Они душегубы! Уничтожать их надо!

— А наших много легло? — спросил кто-то.

— Нет. И тридцати не будет. Они стреляют плохо. Бегут. Трусые паршивые. Как Корниловцев увидели с фланга, такого чёса задали, не догонишь...

Возчики возвращались от села. С ними шли подростки-гимназисты и кадеты. Они несли убитых, винтовки и снаряжение.

— Господа, — сказал кто-то. — Студента Погорельского с вашей подводы убито. Тут у реки лежит. Надо послать подобрать.

## XVI.

Селение, занятое добровольцами, было пусто. Грустно смотрели избушки с закрытыми ставнями окон, с разбитыми стеклами. Трупы убитых солдат валялись в грязи. Странно было, что эти Русские люди, в Русских шинелях и серых папахах, были врагами. В одном месте их лежало кучею человек тридцать, видно застигнутых разом пулеметным огнем. На площади, у белой церкви, стояли, отдельно от большой толпы обыкновенных пленных солдат, двенадцать человек с красными нарукавными повязками. Это были комиссары и коммунисты. Вчерашние писаря и музыканты полка, они в эти дни руководили серым солдатским стадом, углубляя революцию и разжигая страсти во имя полного уничтожения России.

Их караулили четыре мальчика кадета и юноша прапорщик. Они сосредоточенно, хмурыми детскими глазами глядели на пленных и крепко сжимали винтовки. Они их захватили в церкви, куда те спасались, и вытащили, обезоружив, на площадь. Прапорщик, по фамилии Лосев, в числе комиссаров узнал своего родного брата, двумя годами старше его, и теперь с недоумением смотрел на него и мог только сказать:

— Ах, братец! .

— Ну, что, братец! — со страшной злобой заговорил пленный. — Рад? А? Ну расстреливай брата, наемник французских капиталистов! А? За помещичью землю деретесь!

То-то у нас с тобою земли много! Не поделили. Драться пошли!

— Не разговаривать там! — грубо окрикнул кадет, подходя к Лосеву. — Я те поговорю, жидовская подхалима!.. Штыком кишки выпущу!

Лосев мрачно затих.

По улице красивым галопом, на хорошей кровной лошади, скакала одетая в мужское платье молоденькая девушка. Ее бледное лицо с большими серыми, узко поставленными глазами было ненормально оживлено. Это была баронесса Борстен. Два месяца тому назад на ее глазах солдаты дезертиры сожгли ее имение, привязали ее отца к доске и бросали на землю доску с привязанным бароном до тех пор, пока он не умер и глаза не вылетели из орбит. На ее глазах солдаты насильовали ее мать и ее двенадцатилетнюю сестру. Ей грозила та же участь. Но вдали показались германские войска и солдаты, бросив ее, разбежались. Она поклялась **отомстить. Она пробралась на Дон и поступила рядовым в Добровольческую армию.** Лихая, красивая, отличная наездница, она скоро снискала себе общее уважение. Мало кто знал ее историю. Ее считали ненормальной за ее суровую ненависть к большевикам, но добровольцы преклонялись перед ее сверх-хладнокровием в опасности. Когда она видела серые шинели без погон, задранные на затылки папахи, чолки неопрятных волос, по женски выпущенные на лоб, наглые еврейские фигуры в офицерских френчах с алыми повязками на руках, странная усмешка кривила ее нежные, еще пухлые губы и зубы хищно показывались из-за них. В серых глазах загорался огонь. Страшные воспоминания бороздили ее мозг. Сверхчеловеческая страсть загоралась в глазах и редкий доброволец мог тогда прямо смотреть в эти мечущие искры прекрасные глаза. Зрачек почти исчезал в сером стальном райке и тем острее горел из него жестокий внутренний огонь. В эти минуты ее руки становились железными. Даже лошадь под нею, чувствуя напряжение ее воли, становилась покорной и, казалось, понимала, без указания мундштука, ее желанья.

Баронесса Борстен в такие минуты видела что-то, чего другие видеть не могли.

Она подсакала широким галопом к группе комиссаров и круто остановила коня. Караульные ее знали.

— Это что за звери? — спросила она.

— Комиссары, — отвечал высокий худощавый кадет.

— Отчего же они не расстреляны?

— Не могу знать, — хмуро сказал кадет. — Видно, некому.

— Вы слышали приказ Корнилова, — Война идет на истребление. Или они нас, или мы их должны истребить.

— Слыхали, — потупляя глаза, проговорил кадет.

Лицо баронессы озарилось восторгом. Улыбка скривила прекрасные губы. Она медленным, отчетливым движением отстегнула большой тяжелый Маузер, висевший у нее на боку, прикрепила его к футляру, обратив в ружье, и бросила поводья лошади.

Комиссары смотрели на нее, и животный ужас выступил на лицах. Но никто не шевельнулся под ее мрачным взглядом. В нем эти слуги интернационала, еще вчера разрезавшие в этом самом селе живот священнику, вытянувшие оттуда кишку, прибившие ее гвоздем к телеграфному столбу и гонявшие и волочившие священника кругом столба до тех пор, пока он не вымотал всех своих кишек и не упал мертвый, — прочли свой приговор. В страшном блеске внезапно съюзившегося зрачка, они увидели высшую силу.

— Отойдите, господа, — тихо сказала баронесса караульным. — Не мешайте совершиться суду Бога.

На большой площади, в углу которой гомонила толпа пленных солдат-большевиков, в селе, по которому еще там и тут гремели выстрелы, ее слова прозвучали глубоко и четко.

Баронесса медленно, гибким женственным движением, приложилась и, не сходя с коня, вдруг ставшего неподвижно, как статуя, выстрелила. Без стопа рухнул стоявший дальше всех солдат, с идиотски напряженным лицом смотревший прямо на баронессу и не понимавший ничего.

Неторопливо следовали один выстрел за другим, пока не упали все двенадцать.

Баронесса, не спеша, сложила свой маузер, повесила его на бок, с тихим вздохом, подобным вздоху удовлетворенной страсти, подобрала поводья и, еще раз окинув потухшим, усталым взглядом убитых ею большевиков, шагом поехала по селу...

## XVII.

Туманные весенние сумерки надвигались на село. Начинало морозить. На западе степь горела закатными огнями и пол неба было красным, на востоке ярко засветилась одинокая звезда. Село наполнилось стуком колес, криками погонщиков и распорядителей. В полутьме сновали квартиры и раздавались голоса.

— Это Георгиевский полк?.. Корниловцы — с полем! Это офицерский батальон сделал!.. Где юнкера?.. Корнилов благодарил... Я видел на лице его улыбку... Он никогда не улыбается... Как хорошо шли партизаны... Видали Маркова? Первый бросился на штурм... С такими не пропадешь! Где Корнилов?.. Как всегда в избе со всеми... Нет, обходит раненых. Он отдал свою избу раненым... Он их не забудет никогда... С Корниловым мы не пропадем... Теперь, господа, мы с патронами. и с винтовками... Можно будет вооружить тыловых лежебок... Господа шкурники на линию!..

Молодые голоса звенели по селу. Приятели отыскивали в темноте друг друга, перекликались, радуясь встрече.

— Женька, ты жив?.. Как видишь... А говорили, тебя убило. Известия о моей смерти сильно преувеличены!.. Кто же из наших?.. Ермолова цапнуло немного, но опять в строю... в штыковую атаку ходил.

Запах победы примешивался к терпкому запаху крови, соломенной гари и полыни. В маленькой пустой хате казака в полутьме размещался взвод добровольцев.

— Видали, что с церковью сделали? — оживленно рассказывал загорелый юнкер. — Я вошел, еще светло было. Вонь от нечистот в притворе. Иконы порваны и исцарапаны штыками, в уста Спасителя у царских врат вставлен окуроч. На престоле дохлая собака и на ней раскрытое евангелие.

— Жиды, — отозвался от стола мальчик-кадет.

— Нет, и свои Русские „товарищи” тут старались. Господа, нет гаже человека, который начнет ругаться над религией.

— Дьявол радуется и руководит им, — сказал юноша.

— Ну какой там дьявол! Хулиганы, и только.

— Нет, дьявол, — убежденно сказал первый.

Говорившие посмотрели на него. Это был худой, очень высокий, долговязый юноша, с юной русой бородкой на щеках и подбородке. На его рубаше был университетский значек.

— Дьявол? — спросил его маленький коренастый кадет в погонах своего корпуса. — Вы верите, Сторицын, в дьявола?

— Я много читал по этому поводу. Есть, господа, целая наука: демонология. В средние века ею крепко занимались. Дьявол именно там, где святость. Тут ему наибольший интерес искутить и совратить христианина. И в церкви — лучшее поле деятельности для дьявола. Я сам сколько раз замечал за собою. Стоишь, молишься. Вдруг взгляд падает на колено-преклоненную впереди женщину. Она склоняется головою до земли. Глядишь на юбки ее, обтягивающие ее формы, и воображение сладострастно дорисовывает остальное. Поднимешь глаза: — на амвоне стоит священник со святыми Дарами и чудится, скорбный свет идет от чаши. Другой раз прислушаешься, что поют на клиросе. Дополнишь воображением и опять жутко станет: — это дьявол.

— А зачем поют такие вещи? — сказал молодой прапорщик. — Я, господа милые, откровенно вам скажу: — ни в Бога, ни в чорта не верую. Все это отсталость.

— Белеволенский, да вы большевик! Вы и церковь осквернить способны, — раздался голоса с разных концов хаты.

— Никогда-с! У меня развито уважение к чужому мнению. Хочешь веруй, хочешь не веруй — это твое дело. Будь ты хотя дыромол, я мешать не стану. Твое дело. И дыру твою осквернять не буду. С молодых лет мое правило: -- живи и жить давай другим.

— Вы большевик, или Толстовец, — сказал Сторицын.

— Ничего подобного. Большевики именно жить то другим и не дают, — сказал Беневоленский.

— Вы слышали, что они со здешним священником сделали, — сказал Сторицын.

— Ну?

— Комиссары обвинили его в том, что он сносился с нами и нам помогал. Потом искали церковную утварь. Молчит. Тогда ему разрезали живот, прибили кишку гвоздем к телеграфному столбу и вымотали все кишки. Я сам видел труп. Он лежал в пыли ничком. Грязные, побуревшие, облипшие пылью кишки толстым слоем были намотаны на столб. Я думал, какая страшные муки он должен был перенести при этом. Вдвоем с санитаром Котелковым мы перевернули его. Бледное лицо его было так спокойно, так прекрасно в длинной гриве седых волос и с широкой большою бородою, что хоть уснувшего святого 'с него пиши.

— Он и есть святой мученик, -- сказал калет.

— Беневоленский, — сказал Сторицын, — вы семинарию окончили. Скажите, испытывали христианские мученики в самые тяжелые времена гонений такие страшные пытки? Что с вами, Беневоленский?? Вам дурно? Отчего вы так побледнели?

— Где он!? Скажите — где он. Господа! это мой — отец!!... --- вскакивая и хватаясь за стол руками, воскликнул Беневоленский.

В хате наступила тишина. Беневоленский со Сторицыным вышли из хаты. На их место вошли Павлик и Ника Полежаевы и их взводный командир поручик граф Конкрин.

**Зажгли огонь и тусклая лампочка, в которой было мало керосина, осветила группу молодежи, сидевшую на скамьях, на полу, на печи, за столом. Румяный кадет, мальчик лет четырнадцати, вошел, проталкивая перед собою толстую бабенку в плахте, с круглым лукавым лицом. Это была хозяйка дома, которую он отыскал на сеновале, закопавшеюся в сене.**

— Господа, вот нам и хозяйюшка, — сказал он.

Бабенка осматривалась кругом и недоумевала.

— Та вы що-ж, хлопцы, вже-ж православни будете?

— А то кто же?

— Так казали, що вы кадети.

— Кадеты мы и есть.

— Добре, добре. А що-ж це казали, що у кадетів одно око серед чола, а вы люди, як усі люди.

— То-то тетка! давай угощенье.

Румяный кадет потащил свою находку в кладовую, а добровольцы вернулись к только что пережитому ими ужасу.

— Господа, сказал бледный красивый юноша, с лицом девушки, белыми волосами ежиком и синими глазами, мягко глядящими из длинных ресниц, — господа, что за ужас приходится переживать! Два часа тому назад мы с прапорщиком Лосевым арестовали в церкви двенадцать комиссаров, по показанию солдат, — тех самых, которые замучили священника. Среди них оказался родной брат Лосева. Подъехала баронесса Борстен и всех двенадцать уложила из Маузера. Вы знаете, как она стреляет! — Каждая пуля между бровей, математически точно. Она уехала. А прапорщик Лосев, теперь плачет над убитым братом комиссаром. Оторвать нельзя. Что же это происходит? Я учил историю, но такого ужаса, кажется никогда не было...

— Мы молоды, тихо заговорил юноша студент. У каждого из нас какое ни на есть было счастье. И, вот разрушили его! Ну, я понимаю, пришел бы враг. Немцы завоевали бы Россию и стали бы обращать ее в свою колонию, в навоз для немецкой расы. А то свои! Там замучили отца. Здесь брата убили на глазах у брата. Что же это!

— У нас, — задумчиво ероша отросшие волосы, заговорил граф Конкрин, — было имение. Дом-дворец построен еще при Екатерине, и два века мои отец, деды и прадеды терпеливо собирали в него все, что было достойно хранения. В прекрасной дубовой библиотеке хранились такие редкости, такие уники, что ученые всего мира знали о ней и приезжали разбирать их. У нас была коллекция миниатюр XVIII века и фарфора. В картинной галерее были вещи, которым позавидовал бы Эрмитаж. Кругом парк с фонтанами, с прудами, с лебедями. Склеп с костями предков. Около замка были службы. Мы имели свой сахарный завод и на скотном дворе было четыреста голов лучшего племенного скота. У нас было полтора ста лошадей и прекрасные племенные жеребцы. Кругом на двести верст все население бесплатно пользовалось нашими бугаями, жеребцами, боровами и баранами, и весь уезд богател племенным скотом. На заводе работало восемьсот человек и всякий имел доход от нашего имения. У нас была больница и школа при имении, все бесплатное... Я возвращался с фронта, когда наш полк разошелся. Я знал, что они отберут земли, но почему то я верил, что они пощадят то, что их же кормило. Когда я подъезжал к имению, я не узнал места. Громадный парк вырублен, дом стоял пустой и обгорелый и кроме черепков и разбитых статуй я не нашел ничего. Скот, жеребцы были порезаны... У разоренного склепа лежали опрокинутые, вывернутые гробы, и я видел костяк в обрывках Екатерининского мундира и свежий труп моей матери, который растаскивали собаки. Это сделала проходившая через село банда дезертиров-солдат, руководимая евреем. Господа, — я пришел сюда, чтобы умереть, но перед смертью я натешусь мстью.

Все молчали. Румяный кадет принес котел с дымящимся картофелем и каравай хлеба.

— Не всё красные черти слопали, весело воскликнул он, осталось кое что и нам.

Добровольцы придвинулись к столу.

Пожилой человек, худой, с глубоко впавшими глазами и щеками, прорезанными морщинами пододвинулся к графу **Кокорину**.

— У меня, сказал он, не было ни имения, ни замка, ни скота, ни лошадей. Я писатель и жил своим трудом. За тридцать лет упорного труда я устроил себе уютное гнездышко в наемной квартире в Петрограде, на пятом этаже. Там у меня тоже была библиотека, — о, не уника — а просто любимые мои авторы стояли в прочных коленкорových переплетках, висели портреты моей жены и моих детей. Один сын у меня пропал без вести в Восточной Пруссии, спасая Париж, другой застрелял где то на Румынском фронте, третий юнкером убит в Москве в октябрьские дни... Дочь в Казани. Мы жили с женою тихо и никого не трогали. У нас был любимец серый кот Мишка, был теплый угол... Но извольте видеть, я писал в буржуазных газетах, и ко мне под видом уплотнения квартиры поставили пять матросов-коммунистов. Через три дня у меня ничего уже не было. Библиотека была разодрана и пожжена, как вредная, портреты изгажены и уничтожены. Мой серый кот убит. Мы ютились с женой в последней маленькой комнате и каждую ночь слышали шум оргии в нашей квартире, трещала мебель, неистово брэнчал рояль, звенело стекло и хриплые голоса грозили нам смертью. Мы не выдержали этой жизни и бежали. В Бологом дикая толпа дезертиров-солдат оттеснила мою жену и как я ни искал, я **нигде не мог ее найти...** И вот я поехал на юг, чтобы искупить свою вину. Да, господа, каюсь! Я виноват. Всю свою долгую жизнь я мечтал о революции. Я писал статьи, бичующие старые порядки, и звал народ к оружию... На свою голову!

Никто ничего не сказал. Лампа коптела потухая, и в хату вползала темнота. Вдруг из угла раздался певучий, задумчивый, точно женский голос. Это говорил кадет с лицом девушки и с волосами, торчащими кверху.

— А у меня, господа, личного ничего не было. Я сирота... Но у меня была Россия — от Калиша до Владивостока,

от Торнио до Ватума. У меня был Царь, за которого я молился. У меня был Бог, в Которого я верил...

Он замолчал. Казалось, он плакал.

--- Будет! Все будет. Будет единая, неделимая будет великая, будет святая Русь! --- громко воскликнул граф Конкрия, — **Корнилов с нами!**

Кругом стола раздались громкие воодушевленные голоса.

-- С нами Корнилов!

--- Корнилов!

— Да здравствует Корнилов!

**Лампочка вспыхнула последний раз и потухла.** Маленькая тесная хата погрузилась в глубокую тьму. Яснее стали выделяться квадратные окошечки, заставленные геранью и бальзаминами. Звездная холодная, зимняя ночь заглянула в них...

## XVIII.

— Ольга Николаевна, устраивайтесь с нами. Вам не за чем возиться с этими наглыми буржуями.

Оля, входившая пешком в селение, за обозом с ранеными, оглянулась.

Говорившая была среднего роста и средних лет женщина. Все в ней было среднее, умеренное и вместе с тем благородное и красивое. Оля взгляделась и узнала.

— Сестра Валентина! — воскликнула она. — Валентина Ивановна! какими вы судьбами!

— Долгими, Олечка. Но я слышала то, что у вас вышло с Катовым и, слава Богу. Я так боялась, что вы увлечетесь этим современным мужчиной. Я вас устрою. Сестра Ирина, — обратилась она к худой, седой, монашеского вида, одетой во все черное женщине, -- позвольте вам представить — Олечка Полежаева, тоже наша Царскоселка.

Это было маленькое, но организованное женское царство. Старшей была сестра Ирина, но всем распоряжалась смелая, энергичная, не знающая усталости, сестра Валентина.

Раненых и больных было так много, перевязочных материалов, лекарств и белья было так мало, что надо было все создавать самим.

Долго стучались они из хаты в хату, ища приюта для своих раненых, молчаливо лежавших на подводах с глазами, устремленными в бледнеющее вечернее небо.

— Занято, — отвечали им. — Пятая рота Добровольческого полка стоит. Поищите, сестрица, на той стороне.

— Занято беженцами...

— Штаб бригады.

— Канцелярия баталиона, — говорили из хат.

Усталые лошади шлепали ногами по грязи, скрипели колеса. Сестры терпеливо искали места своим раненым и себе.

— Ах, сестра Валентина, — вздыхала Ирина. — Никто не думает о раненых. Они не нужны. Они обуза.

— Корнилов думает, — спокойно отвечала сестра Валентина. — Он нас не забудет.

И точно в подтверждение ее слов, в сумраке вечера, появился конный офицер конвоя Главнокомандующего.

— Это вы, Миша? — сказала сестра Валентина.

— Валентина Ивановна, вам и вашим раненым вот в этот проулочек. Шесть хат с левой стороны. Не видали Алексея Алексеевича? — сказал, подъезжая на худой измученной лошади, офицер.

— Он вперед поскакал.

— Я думал уже вернулся. Он был в штабе.

Еще через час, после утомительной работы разгрузки раненых, когда одних пришлось вынимать и нести на носилках, другим помогать, таскать солому, сестры заканчивали работу.

**Этого не несите, — тихо сказал вялым голосом бледный юнкер. — Он скончался.**

— Что вы, Ватрушин!

— Говорю-же. Холодный совсем. Все на меня навалился. Страшный... — с раздражением сказал раненый.

Когда всех устроили, озаботились подводами на завтра, накормили, согрели и напоили раненых, была уже глухая ночь. Оля, штатаясь от усталости, вошла в хату, отведенную для сестер. У нее слипались глаза. Маленькая хатка была ярко освещена, на большом столе стучала швейная машинка и Ирина, Валентина Ивановна и француженка Адель Филипповна, невеста Миши, сидели за столом в ворохе холста и полотна.

— Олечка, вы не слишком устали? — сказала сестра Ирина.

— Пойдите, господа, мы ее прежде накормим, — сказала Валентина Ивановна.

Она встала от работы и достала с печки котелок с хлебкой, чайник и кружку.

— Кушайте, Олечка, а потом поработаем до утра. Посмотрите, какое богатство нам Миша доставил. Реквизнули где-то. Надо рубахи раненым пошить, бинты поделать, а то страшно сказать, сегодня двоих перевязывать пришлось, — так газетную бумагу вместо ваты наложили. Вши начали заводиться. Стирать не успеваем. И вам надо, Олечка, рубашечку сшить. У вас ведь другой нет?

— Нет. Я с самого Ростова не могла ее помыть. Ведь, когда моешь, да сохнешь, приходится платье на голое тело одевать. А там у Катовых негде было, — грустным голосом сказала Оля.

— Ну вот! Берите ножницы. Кройте по моему рисунку.

Зимняя долгая ночь тянулась бесконечно. Сон пропал и торопливо бежали мысли, а руки, покрасневшие от напряжения и уже натрудившиеся все резали, резали, то грубый холст, то полотно. Оле вспомнился ее громадный бельевой шкаф в Царском Селе и полки, на которых воздушными кипами, в кружевах и прошивках с продернутыми насквозь пестрыми красивыми ленточками, лежали дюжинами рубашки и панталоны. Кто то их носит теперь? Оля вспомнила Царскосельский парк и ту бледную изломанную особу, которая смотрела на нее сквозь стекла золотого лорнета. Какая она была ужасная. Может она носит теперь ее белье?

Монотонно стучит швейная машинка. Остановится, помолчит и снова стучит, точно пулемет... „Пулемет... Пулемет“, — повторяет вслух Оля и ее глаза слипаются, а ножницы падают с опухших пальцев.

— Олечка, вы спите, — говорит ей Валентина Ивановна.  
-- Отдохните немного.

— Нет. Я ничего, -- встряхиваясь, говорит Оля.

— Давайте, теперь будем вместе резать бинты и сворачивать их. Третий час уже. До утра недолго. А утром на походе, в подводе заснем. На солнышке славно выспимся!..

Перед глазами крутится длинными полосами полотно, шуршит и потрескивает, сворачиваясь в большие цилиндры.

— **Всех раненых завтра утром свежими бинтами перебинтуем**, — говорит со счастливой улыбкой сестра Валентина.  
-- То-то обрадуются! Ведь вот у Ермолова, — даже и не рана, а так пустяки. Плечо прострелено. А не перевяжи во время, выйдет нагноение. Боже упаси — руку по плечо отнимать придется.

Вздрыгнула Оля и сон пропал у нее. „Руку по плечо отнимать придется“, -- подумала она.

„Какой он хороший, Ермолов! Настоящий герой старого времени. Он так мало говорит и так много делает. От него веет давно забытыми романтическими образами истории и он так не похож на героев нового времени, политических болтунов в офицерском платье с жестами и замашками демагогов. Про Ермолова нельзя сказать, как теперь говорят про многих офицеров: „он хорошо говорит. Он умеет влиять на толпу“. Как-то раз Оля спросила у него: „какой вы политической партии?“ Ермолов посмотрел на нее. „Простите“, — сказал он, и лицо его вспыхнуло: — „я — офицер. Этим все сказано“. — Оля тоже покраснела и сказала: — теперь, в гражданской войне, все офицеры придерживаются какой-нибудь партии. У нас есть полки монархические и полки республиканские. Корнилов и Алексеев, не раз заявляли, что они республиканцы. Будем считаться с тем, что теперь есть, а не с тем, что должно быть“.

— „Если это так”, — сказал Ермолов, — „то это ужасно. Надо распускать добровольческую армию. Она порядка и тишины России все равно не даст. Когда мы одолеем большевиков и Корнилов диктатором войдет в Москву и соберет Учредительное Собрание, монархические полки пойдут валить Корнилова и объявят новый поход против полков республиканских. Предоставим партиям вести между собою грызню из-за лакомого куса власти. Плохо, если руки подумают, что они голова и будут делать то, что им хочется, а не то, чего требует от них голова”.

Это было дня три назад, в большой красивой казачьей станице, — первой станице, где их хорошо приняли и Оля помнила каждое слово этого разговора. Она почему то подумала тогда: — „любит ли он меня?”... Вспыхнула, посмотрела в большие, блестящие, ясные, серые глаза, не умеющие лгать, и прочла в них то, чего он не смел сказать. После этого разговора не было дня, чтобы они хотя на минуту не встретились, чтобы он не отыскал ее в громадной толчее подвод и движущегося народа, чтобы она не увидала его стройную высокую фигуру в рядах Корниловского полка и сердце ее не забилось сильнее.

Из всех полков Добровольческой армии — Корниловский полк всего дороже Оле и значительную часть той любви, которою горело ее сердце к Государю Императору, она перенесла на этого маленького смуглаго человека, с узкими косыми блестящими глазами, которого считают Наполеоном России...

## XIX.

Поход Добровольческой Армии к Екатеринодару по количеству совершенных подвигов и перенесенных страданий, не имеет себе равного во всей военной истории. И прежде всего потому, что Добровольческая Армия не была Армией.

Всякая Армия, всегда организуется и устраивается по определенным принципам военной науки. В ней есть особое отношение числа солдат к числу офицеров, в ней есть кон-

ница — как ее глаза и уши, как сила морального воздействия, как орудие преследования и уничтожения неприятеля, в ней есть пехота, есть разных видов артиллерия, средства связи, технические войска, понтоны, аэропланы и пр. и пр. После великой войны ни один уважающий себя генерал, а тем более генерал генерального штаба не позволил бы себе выступить в поход, не имея всего, что нужно для армии, не обеспечив себя снарядами и патронами, не устроив позади базу со складами, магазинами, фабриками и заводами, не наладив лазаретов, госпиталей, летучек, перевязочных пунктов и не снабдив их врачебным персоналом, перевязочными средствами, индивидуальными пакетами и хирургическими инструментами.

Добровольческая армия состояла в дни похода на Кубань почти исключительно из офицеров. В ее солдатских рядах стояли полковники и капитаны, командовавшие на войне батальонами и полками. В ней за солдат, кроме офицеров, были юноши юнкера и мальчики кадеты и лишь нередко попадались старые солдаты, оставшиеся верными России. Это делало ее сильной духом в боях. Никакая другая часть не могла так наступать, не могла так блестяще решать самые сложные тактические задачи, так смело делать неудержимые лобовые атаки и так математически точно, по часам, делать самые сложные обходы. Она состояла из профессионалов военного дела, притом больше половины этих профессионалов прошли трехлетний практический курс на войне. В этом отношении она была подобна полкам старых времен, когда солдатское дело было ремеслом и, когда солдат воевал всю жизнь. Добровольцы этой эпохи в боевом отношении уподоблялись героям Фридриха Великого, Суворовским чудо-богатырям, Наполеоновской старой гвардии.

Но в большинстве добровольцы были изнежены предыдущей жизнью, как офицеры, были избалованы и потому сильно страдали от невзгод похода, легко заболели. Строго, сурово дисциплинированные в строю и в бою, они позволяли себе „сметь свое суждение иметь” вне строя — и

служба охраны, разведки, караульная служба и, особенно, внутренний порядок в частях были невысоки...

По понятием народа, армия была кадетская и в политическом и в буквальном значении этого слова, **буржуйская, — господская, помещичья** — и ее враги, большевики, при своей агитации против нее это все использовали. Армия вела к проклятому царизму, армия шла против пролетариата, стремилась **восстановить прежние отношения между слугами и господами**, вернуть под офицерскую палку, снова отдать помещикам землю.

Поэтому армия в крестьянских селах и деревнях была встречаема недружелюбно. Присутствие в ней офицеров разных полков и понятий вносило политический сумбур в ее ряды. Это усиливалось еще тем, что при армии двигалось много партийных вождей, бывших членов Государственной Думы, писателей и публицистов, тех людей, которых, однажды, на походе, Корнилов весьма метко назвал **обломками политического хлама**. В армию внесена была политика, а политика исключает армию, как армия исключает политику.

В добровольческой Армии почти не было конницы. Маленькая группа офицеров и казаков, небольшой отряд полковника Глазенапа, который ему удалось довести до Ростова — вот и вся конница... А между тем и местность — равнина, и характер войны с неорганизованными, легко поддающимися панике бандами требовал многочисленной и **лихой кавалерии**. При армии **двигалось 6 орудий и на всех них имелось всего 1000 снарядов**. Армия не имела в достаточном количестве шанцевого инструмента, инженерного имущества, средств связи. В ней были только люди, которые все это знали и которые могли, как только им дадут возможность, создать весь сложный механизм армии. Шла душа Российской армии, лишенная тела. Были пружины, но не хватало колес, которые эти пружины должны были двигать.

При Добровольческой Армии почти не было врачей, санитаров, профессиональных сестер милосердия. Их заменяли

жены и сестры чинов армии, аристократки беженки, собравшиеся на юг. Они несли свои обязанности с величайшим мужеством и самоотвержением, но у них часто не хватало элементарных практических знаний.

Медикаментов было мало. Перевязочных средств почти не было, не было антисептических матерьялов и ничтожные раны оканчивались смертью.

Корнилов все это знал. Но он и шел не затем, чтоб воевать. Он шел, чтобы унести душу Российской Армии до лучших дней, когда можно будет вернуть ее здоровому телу.

Всякая армия имеет базу, откуда она питается и имеет надежные, тщательно охраняемые пути сообщения с этой базой. У Добровольческой Армии базы не было. Ее база была: --- пролетка генерала Алексеева с сундуком, набитым деньгами, далеко недостаточными, однако, чтобы долго питать армию. Ее база была — вера в доброту Русского человека и в великое „Христа ради“. Ее база была глубокая непоколебимая вера в то, что Россия погибнуть не может, что она снова будет великая, единая и неделимая. Эту веру были проникнуты все от ее вождя до последнего рядового офицера. Ее база были союзники, которые должны победить немцев. Ее база была эта победа союзников и вера в то, что тогда союзники спасут душу Российской Армии. Никто тогда не задумывался над тем, нужна ли будет англичанам и французам сильная и могущественная Русская армия тогда, когда они победят немцев.

Всякая армия имеет определенную цель действий и для этого подбирает пути, по которым стремится к этой цели. Добровольческая армия этой цели не имела, — кроме отдаленной и туманной, — спасти Россию от большевиков. Она шла, во всяком случае, от этой цели, потому что с каждым днем удалялась от Москвы и сердца России.

Наконец, всякая армия имеет определенного врага, которого разведывает, отыскивает и с которым борется. Она имеет, таким образом, фронт, фланги и тыл. Добровольческая армия определенного врага не имела. В феврале и марте 1918 года власть народных комиссаров еще не дошла до

юго-востока России. В Царицыне сидел совдеп, который не считал себя обязанным исполнять приказания Ленина и Троцкого, у Ставрополя командовал скопившимися здесь и случайно осевшими войсками, двигавшимися с Кавказского фронта, кубанский фельдшер Сорокин, ловкий демагог, полуобразованный, начитавшийся верхов человек, не лишенный понимания военного дела. Он колебался, с кем ему идти — с **народными-ли комиссарами, или с генералом Алексеевым**, и пока что действовал и против тех, и против другого.

На путях Добровольческой Армии, между Тихорецкой и Владикавказом, в бронированных поездах и шести составах эшелонов, самодержавно царил маленький круглый Автономов, типичный провинциальный актер, когда-то, и очень недавно, просто шлопай футболист. Окруженный **экзотической, интернациональной свитой шулеров, он играл в салон вагоне своего эшелона в карты, налагал контрибуции на Армавир и Владикавказ, говорил речи своим солдатам и сражался с добровольцами только потому, что они своим походом сокращали линии его разъездов и возможность получать хабару деньгами и натурой. Это был железно-дорожный Стенька Разин, вместо расписных челнов имевший красные теплушки и салон вагоны.** Он тоже не считался с интернационалом, воссевшим в Москве, не считался отчасти потому, что самую связь с Москвою наладить по тогдашнему смутному времени было нелегко.

Все это знал генерал Корнилов, и потому он считал возможным идти на восток без базы, без лошадей, без пушек, без снарядов, без патронов, без медикаментов... без солдат.

Корнилов знал, что когда колебания у Сорокина, Автономова и тысяч им подобных кончатся в пользу России — он получит и базу, и лошадей, и пушки, и амуницию, получит и солдат... Он шел, чтобы спасти Русское офицерство до этого момента.

## XX.

Люди создают планы и современникам эти планы кажутся весьма остроумно придуманными и сулящими несомнен-

ный успех. Но в планы и рассуждения их вмешивается какой-то маленький привходящий элемент и все изменяется, принимает иные формы и приводит к другим результатам.

Корнилов делал ставку на союзников, на их помощь после победы над немцами и на офицеров, как на единственный оставшийся здоровым элемент в России. Он считал, что большевики не способны ни к какой организации, что буржуазные круги и особенно военные и офицеры будут саботировать их власть и что Россия вернется к разумному решению: — бросить врагов Родины и обратиться к тем, кто ей желает спасения. Это было так разумно, что казалось иначе и быть не могло.

Но Корнилов не учел того, что к нему, после целого ряда тяжелых скитаний и мытарств прибыли лучшие офицеры Российской армий, которые мало были склонны думать о будущем, но думали о настоящем и хотели не спасать свою шкуру, а драться и умирать, или побеждать. Корнилов не учел того, что Павлик и Ника Полежаевы и поручик Ермолов верили в свои молодые силы и стремились их отдать на служение Родине, что Беневоленский хотел мстить за замученного отца, что граф Конкрин никогда не простит разорения его родового гнезда и страшного надругательства над прахом его матери и предков, что баронесса Борстен стала ненормальной от сцены истязаний ее близких, и что все эти **Павлики, Ники, Ермоловы, Беневоленские, графы Конкрины** и баронессы Борстен видят в каждом Русском солдате и Русском крестьянине своего обидчика и смертельного врага и не могут быть спокойными.

Корнилов, снисходительно допуская в свой, и без того большой, обоз подводы с политическими деятелями и журналистами, упустил из виду, что их мозги не могут заснуть и быть парализованными на все время похода, он не учел, что в их головах будут рождаться непрерывно планы спасения Родины и против воли своей он будет вовлечен в исполнение этих планов.

Вступая на землю Кубанских казаков, Корнилов не учел того, что Кубанцы могут увлечься стройным видом его полков, вспомнить былую славу своих отцов и пойти с ним освобождать свой край от поборов Автономова и набегов Сорокинских шаек.

Наконец, вряд-ли Корнилов мог допустить, что его товарищи по Академии Незнамов, Балтийский, Лебедев, Раттель, Бонч-Бруевич станут преподавать основы стратегии Лейбе Бронштейну для того, чтобы тот разрушал великую Россию во славу III интернационала и мировой революции, или что его бывший начальник фронта генерал адъютант **Бруслов и его ближайшие начальники на войне Клембовский, Зайончковский, Парский, Сытин, Гутор** и другие всю силу своего образования и ума положат на формирование красной армии в противовес его Добровольческой Армии.

Корнилов не мог этого знать наперед и не мог учесть все эти причины, а потому он и не мог предвидеть того, что заставит его изменить планы.

Люди могут, конечно, отрицать Высший Промысел и участие воли Божией в их делах. Люди могут в ослеплении своей гордости говорить, что Бога нет и что все зависит от **них, но в исторических судьбах народов, да и не только народов**, но даже единичных людей, случается так много независимо от воли этих людей и чаяний народов, что даже самые скептики должны, в конце концов, признать, что крупные события истории мира совершаются помимо их воли и направляются из неведомого и непостижимого Разума, который, как его ни называй, останется Богом.

## XXI.

Без хорошей обуви и одежды... К Корнилову бежали в чем Бог помог вырваться из рук осатаневших солдат. На пути подвергались неоднократным ограблениям и раздеваниям, приходилось прибегать к самым фантастическим маскарадам, и в вербовочные бюро генерала Алексеева являлись в опорках, рваных пиджаках и ветром подбитых паль-

то, а снабдить добровольцев обмундированием, от которого ломались Ростовские склады, Донское правительство отказало: — самим, дескать, понадобится. Да и косо смотрело на добровольцев тогдашнее войсковое правительство, в котором многие колебались между Калединым и Подтелковым, стремились углублять революцию, в этом видели заветные свои цели и добровольцев называли: кадетами, буржуями и контр-революционерами.

Почти без денег... Алексееву консорциум Московских банков обещал миллионы и не дал ничего, та же история повторилась и в Ростове. Реквизировать было нельзя: — в Москве силы не было, в Ростове не позволили бы казаки.

Плохо вооруженные и без военных запасов шли добровольцы по глухой степи. В феврале и марте стоит в прикубанских степях самая тяжелая для похода погода. То светит яркое солнце, тепло, как летом, в небе поют жаворонки, **то вдруг задует суровый ветер из Азии, налетит пурга, наметет сугробы снега чуть не в аршин, а на завтра все это тает, звенит бесчисленными ручьями по степи, растворяет рыхлую почву и по колено уходит в нее нога пешехода.** А еще через день мороз, все сковано льдом, степь блестит, **как остекленная и мокрую со вчерашнего дня шинель насквозь** продувает морозный ветер. А потом весенний теплый дождь и снова мороз. Ничтожные ручьи по балкам, которых летом совсем и не видно, раздуваются потоками, несутся струями мутной желтой воды, бурлят, пенятся, и в них приходится по грудь и по пояс искать переправы. Мосты, где они были, снесены, обходные пути за много верст. Кругом озлобленное население. Оно не разбирается, кто большевики, кто „кадеты”. Приходят, требуют ночлега, внимания, **отнимают хлеб, подвод, лошадей, — ясно: — враги. Отойти от колонны, отстать: — рисковать быть убитым неизвестною рукою. Добровольческая армия была так малочисленна,** так ничтожна по своему фронту, что она не оттесняла врага, заставляя его отступать, а входила в него и постепенно становилась окруженной врагом со всех сторон. Она вела

бои на все стороны и ее громадный обоз всегда сопровождал большой арьергард.

Она таяла от боев: — убитыми и ранеными, еще более таяла от болезней, но численно она увеличивалась. Светлая вера добровольцев в спасение России, страстная любовь к Родине, величайшие подвиги мужества, совершаемые на глазах у всех, увлекали станичную и слободскую молодежь и новые добровольцы становились на места тех, кто уходил в вечность. Эти люди имели одно военное качество: — храбрость. Но они не умели стрелять, не умели даже зарядить винтовку. Их приходилось обучать на походе, показывать приемы, лежа в какой-нибудь канаве, или за валом в резерве во время боя. Армия и воевала и обучалась и это отзывалось на ее боеспособности. Чудо-богатыри, вышедшие **из Ростова исчезли из ее рядов, их сменила молодежь, без** воинского воспитания, без впитавшихся в плоть и кровь годами корпуса, училища и войны понятий о рыцарской чести и доблести.

С 23-го февраля начались бои. Первый большой бой был у села Лежанки. А потом и пошло: 1-го марта дрались у Березанской, 2-го у Журавского хутора, 3-го у вторых выселок этого хутора, 4-го у Кореновской, 6-го у Усть-Лабинской и т. д. Станица, хутор, случайная роща, плетень, балка, высоты, — отовсюду стреляли винтовки, трещал пулемет, грохотала артиллерия, везде маячили неизвестные конные люди, обходили с фланга, показывались в тылу. Все надо было брать с боя. Все были обстреляны. Сестры милосердия видели близкие разрывы шрапнелей, гранаты рвались в пятистах шагах от обоза и раненые с землистыми лицами и глазами полными невыразимой муки прислушивались к гулу орудий, совсем недалекому треску пулеметов и ружей и ждали, когда новые пули и осколки станут пронизывать и рвать их еще не зажившее тело. **Беженцы были обстреляны. Над их головами пела свою ядовитую песню** пулеметная пуля и с бледными лицами и застывшими печальными улыбками на щеках матери прижимали к себе детей и ждали когда и чем это кончится.

Муки казались дошедшими до предела, но каждый новый день приносил еще новые страдания и следствием являлось утомление армии. В армии народилось страстное желание **отдохнуть, выйти теплый кров, свежее белье, возможность помыться и поспать спокойно, не слыша выстрелов, не ожидая боя.**

Подобно тому, как в Японскую войну Ляоян зачаровал общественное мнение и казался неприступной твердыней, о которую разобьются японцы и откуда начнется наступление Манчжурской армии, среди беженцев и раненых, а потом и в строевых частях, такую обетованную землю стал казаться Екатеринодар. Взять Екатеринодар и начнется спасение. Соединиться с кубанскими казаками, только что оставившими под напором большевиков этот самый Екатеринодар, и поднимется вся Кубань. А поднимется Кубань, встанет и Терек, захватит волна и Дон, и казаки освободят Россию!

Это значение Екатеринодара и казаков усиливалось и тем, что по мере углубления добровольческой армии в **Кубанскую область, в ее рядах становилось больше казаков. Из Екатеринодара к добровольческой армии шла конница, которой так недоставало Корнилову. Все это заставило Корнилова изменить свой план, уходя без боя, и повернуть на Екатеринодар.** 14-го марта, у аула Шенджи, южнее Екатеринодара, добровольческая армия соединилась с генералом Покровским и кубанскими конными полками.

Кубанцы торговались за власть. Они не хотели покоряться добровольцам, но признали власть Корнилова, и добровольческая армия стала втрое сильнее.

Пошли на Екатеринодар.

## XXII.

Шли горами. Мягкие отроги Кавказских гор безконечными цепями спускались в степь и расплывались в ней. По краям балок росли кустарники, в низинах было болото, ру-

чьи журчали по каменным блестящим скалам, по мокрой топкой земле.

15-го марта густой низкий туман окутал землю и шел **мелкий пронизывающий дождь. Без песен, промокшие** насквозь, густыми рядами шли добровольцы по грязной теснине, спускаясь к бурной вздувшейся реке. Моста не было. Передовые дозоры, — молодые офицеры, помялись на берегу и потом решительно пошли в воду и провалились по **горло...** За ними пошла колонна. Потом обоз. Сестры и легко раненые, которые могли стоять, вставали на телегах и стояли, держась друг за друга. Ледяная вода заливала ноги, мочила и сносила солому из телег, от толчков люди падали, лопались повязки, открывались и сочились кровью раны. Тяжело раненые, больные, в лихорадочном бреду, въезжали в реку, вода мочила их спину, поднималась до боков, на секунду захлестывала белые страдающие лица, заливала большие воспаленные лихорадочные глаза...

— Пошел, пошел! — кричали в ужасе доктора и санитары.

— Господи! Что же это такое! — говорили сестры в мокрых юбках и кофтах, сами падая на телеги и стараясь приподнять над водою головы умирающих.

Раненые не стонали. Что испытывали они в эти мгновенья кошмарных грез, претворенных в явь, никто не знал и не мог передать!

За рекою был крутой глинистый подъем с наезженными красными колеями и со скрипящими под ободом колес круглыми камнями. Когда поднялись — широкая степь развернулась за балкой. Был перевал. По перевалу гулял ледяной ветер. Дождь сменился снежной пургой и температура упала на несколько градусов ниже нуля. Мокрые шинели, мундиры, рубахи, шаровары, сапоги, обмотки, в несколько минут замерзли и ледяным панцырем покрыли людей. Офицеры и солдаты стали останавливаться, казалось вот вот они замерзнут и степной мороз остановит биение сердца Добровольческой Армии.

— Хороши, господа панцырники! — вдруг весело воскликнул Ника и ударил кулаком по груди брата. Лед треснул и шинель стала ломаться.

— Так, так! тузи друг друга! Согревайтесь, господа! Прыгайте, бегайте, — кричали пятидесятилетние генералы и сами дрались и возились как дети.

— Вперед! Вперед!

**Дружно Корниловцы в ногу!**

С нами Корнилов идет.

Вспыхнула песня и ширясь понеслась к небу. Могучая воля человека, частица Божества, торжествовала над жестокой природой.

Опять спуск. Опять несущаяся в стремнине река, пена, кипящая у камней и в излучинах у темных берегов, неведомая глубина и холод.

Послали двух пленных искать брода и нашли по грудь в воде.

Красивый молодой генерал, в белой папахе, в черных погонах добровольческой армии, с улыбкой на лице, как будто бы собираясь сделать какую то шалость, уверенными ловкими шагами хорошо тренированного человека, по обледенелому спуску сошел к реке и пошел, раздвигая руками ледяную воду. За ним спокойно пошла колонна.

— Сы-ро-ва-то! — блестя веселыми глазами, сказал на середине реки генерал и улыбнулся счастливой улыбкой. В этой улыбке, помимо его воли, отразилось неосознанное счастье совершаемого подвига и с губ его сорвалось слово, ставшее историческим.

С этого дня имя генерала Маркова, уже известное добровольцам, как имя бесстрашного и смелого генерала, стало на устах у всех, как имя человека, шуткою победившего природу.

— Да, сыровато, — дрожа и булькая повторил его маленький сосед, захлебываясь в потоке и, когда вышли на верх, на перегиб горного хребта на ледяной ветер, когда обмерзли снова, и готовы были пасть духом, — услышали

недалгие выстрелы и увидали в рассеивающемся, гонимом ледяным ветром тумане, летящем над горами, как клочья паровозного дыма, так знакомую фигуру Корнилова. Он, обледенелый, как и все, скакал вперед на выстрелы.

К ночи вошли с боем в большую Ново-Дмитриевскую станицу и всю ночь по улицам ее гремели выстрелы: -- добровольцы выгоняли большевиков из теплых хат и вели кровавый бой за каждый угол, где бы можно было обогреться и приютить и накормить раненых.

Два дня, 17 и 18-го марта, у Ново-Дмитриевской шел бой, и раненых сушили, перевязывали, а умерших хоронили под звуки то затихавшей, то начинавшейся снова орудийной канонады, ружейной и пулеметной трескотни.

Оля устремляла глаза к небу и забывая, что она и холодная, и голодная, и мокрая молила об одном: — Господи! Когда, когда же конец всему этому!..

И, во всем отряде стала одна мысль, одна мечта:

— Екатеринодар...

Одним он рисовался в виде теплой хаты с мягкой постелью с перинами и подушками. Над постелью висят иконы, горит лампадка. Тепло, сухо, сытно и можно спать, сколько хочешь. Другим виделись хорошо обставленные комнаты, ярко горящее электричество, ванна, чистое, охотно одолженное каким то неведомым богатым Екатеринодарским жителем белье, хороший обед, — этакий настоящий малороссийский борщ с бураками, красный, с жирными сосисками, кусками ветчины и сала со шкурой, графин водки, **курица с соусом, какие нибудь оладьи, или ватрушки со сметаной.** Третьим грезился кинематограф, обрывки томящей душу музыки на пьянино, пестрая вереница картин, говорящих о какой то чужой, спокойной, яркой жизни, где нет безконечной степи, перевалов, ручьев, ледяного ветра, голода и холода, где не видно косых недружелюбных взглядов, где не нужно расстреливать комиссаров, где не стонут раненые... Четвертым грезилась встреча с теми, кто был тут недалеко в обозе, кто думал о них и о ком думали и кого не удалось видеть во все эти жуткие дни. Пятые мечтали о

прекращении мятущих душу кошмаров, которые схватывают в лихорадочном бреде и идут, не прекращаясь, но все усиливаясь и на яву. И не знали они, что было кошмаром и что явью. Кошмаром ли был горный поток, подхвативший подводу и унесший из под наболевшего тела солому, сделавший мокрым шинель и одеяло, и явью были какие то светлые духи, летавшие перед глазами, распростирившие серебряные крылья и певшие неведомую песню блаженства...

Все мечтали об отдыхе от боев, о том, чтобы оправиться и сорганизоваться, одеться и вооружиться и тогда воевать.

27-го марта подошли к Екатеринодару и с мужеством отчаяния осадили его своими небольшими силами.

### XXIII.

О! эти думы!.. Думы без конца... Думы о любимом... Он простился вчера вечером, забежав на минуту к лазаретной хате, и сказал то, что давно было на его устах и чего, не сознавая того, ждала и хотела Оля

День был солнечный, радостный, весенний. Было тепло, пахло землею и трава выпирала тонкими иголками из земли, а почки на кустах сирени пухли на глазах. Днем переправлялись через Кубань и был бой у Елизаветинской. Оле кто-то сказал, что Ермолов убит. Остановилось сердце и руки беспомощно опустились. Оля не могла больше работать. Она вышла из хаги, села на рундуке у заднего крыльца и смотрела вдаль. Сзади догорало в степи солнце и спускался золотой полог над голубеющей степью, перед нею был небольшой сад с молодыми вишневыми деревьями и яблонями со стволами, обмазанными белой известкой. В углу, в сарае, копошились на насестах куры и недовольно хлоптали, точно спорили из за места. Свежею сыростью тянуло от земли. На мокрых дорожках отчетливо были видны маленькие следы — Олины следы. Она ходила к забору и смотрела на туманное пятно внизу, пятно густых садов, пирамидальных тополей, домов и церквей. Это Екатеринодар, который добровольцы пойдут завтра брать.

Так много за эти дни было смертей, страданий и мук, что, казалось, притупилось, огрубело и закалилось сердце. После ледяного похода, на ее руках умер мальчик гимназист, **высушить его серую шинельку со светлыми пуговками** так и не удалось. Он все звал маму, все просил затопить камин и согреть и обсушить его платье. „Мама!”, говорил он, — „я больше не буду. Я никогда, никогда больше не буду купаться в одежде”.

„Где его мама!? Кто его мама? Знает ли она о том, что его зарыли на окраине станицы, там, куда не долетали пули. Найдет ли она его. И как найдет”.

Умер суровый и хмурый Беневоленский. И не мучился долго. Принесли его с разбитою прикладом грудью. Он харкал кровью и поводил по сторонам глазами. Все хотел что то сказать и не мог. И только перед самой смертью он, наконец, выговорил: — „здесь не удалось отомстить — отомщу на том свете... вот”... И затих.

В конной атаке убита шрапнелью баронесса Борстен, легендарный палач комиссаров и коммунистов.

**Графа Конкриня хоронили вчера. Простудился, зачих и завял в какие нибудь три дня...**

Ну что же? И он... Все... Все, должно быть, погибнут. И почему он должен жить, когда те погибли. Да и для чего жить?..

И так же, как тысячам других людей, с нею вместе страдавшим и грезившим о Екатеринодаре, Оле стало казаться, что жить стоило и что счастье ее ожидало бы в Екатеринодаре. А теперь, когда его нет, когда и его отняла неумолимая судьба, ей и Екатеринодара не нужно. Ничего не нужно.

Еще так недавно было счастье. Была культура, была красота. Был дом, в котором спокойно и безбоязненно жилось, были картины, музыка, театр. Все это было просто, доступно, все это радовало и украшало жизнь. Это вошло в плоть и кровь и стало потребностью.

**Не далее, как три дня тому назад, сестра Ирина вечером сказала санитару Федору: „Федор, ты бы хотя на гармошке нам поиграл. Так тошно без музыки”**

Тогда это не ощущалось. Тогда раздражала гармоника. В гостиной стоял рояль, лежала скрипка Ники, грудой навалены были ноты и самый воздух был пропитан музыкой и пением... А опера... А „Евгений Онегин“!!..

В мутном мареве дали показались гирлянды огней **Екатеринодара. Болью сжалось сердце, а память сладостью** прошлых мгновений смущает ум... „Слыхали-ль вы... Слыхали-ль вы, за рошей глас ночной... Певца любви... Певца своей печали“...

Закроешь глаза, и грезятся вздохи далекого оркестра... Показалась декорация дома и сада, березы на первом плане и широкая Русская даль полей и пологих холмов. И призывный голос, сплетающийся с другим голосом. Как хороша, как проста была жизнь!

...Мягкий свет скупо просачивается сквозь опущенную занавес спальни, и кротко глядят из угла лики святых на иконах, где догорает лампадка. У окна благоухают цветы. Узкая девичья постель тепла и уютна. Впереди целый день красоты. Без усилия, — стоит только прикоснуться к маленькой пуговке электрического звонка, явится толстая приветливая Марья с подносом, на нем кофе со сливками, с маслом и булочками, со всем, чего только она ни захочет. За нею шумный и ласковый ворвется Квик.

...Урок рисованья... На столе в мраморной вазе букет редких цветов. За ним драпировка. Перед Олей вода в стакане, палитра медовых красок на руке и на плотной Ватманской бумаге нежными пятнами воскресают цветы. **Учительница, милая Вера Николаевна, рисует тут же рядом. Незаметно подкрались часы прогулки.**

Нева... Красивая линия дворцов и на том берегу низкие стены гранитной твердыни. золотой шпиль и темные воды, или белый простор широкой реки. По набережной мчатся санки. Пара вороных рысаков под синюю сеткой, четко стуча копытами несетя навстречу. В санях в красивом мантио, в **накитке из соболей разругившаяся веселая женщина** и рядом с ней офицер в шинели с бобровым воротником. Это граф и графиня Палтовы... Казачий офицер Маноцков на

чудном караковом коне в одном темносинем чекмене и легком кавказском башлыке, накинутом небрежно на плечи, скачет, догоняя сани. Навстречу идет матрос гвардейского экипажа. Что за красавец мужчина! Молодая русая борода расчесана и лоснится, фуражка с георгиевскими лентами **надева на бок и на черной шинели горят золотые пуговицы и алые петлицы...**

Как красив милый родной Санкт-Петербург!

**Дома почта. Письма со всех краев света. От старой няни из деревни на серой бумаге и в грязном конверте. Машины письма из Италии, где среди сказочной красоты умерла милая незабвенная мама.**

Из душевных переживаний, тонких и красивых слагалась жизнь. Не страдало тело, но за него мучилась, страдала и парила душа. Тело забывалось и о нем было неприятно и неприлично говорить. Тонкая поэзия Бодлэра и Мюссэ, фантастические искания Эдгара Поэ, недоговоренность сложных романов Оскара Уайльда создавали иной мир, непохожий на мир земной. Ярко среди него светила религия и вера, но и вера полна была тайной влекущей мистики и в ней стремились отрешиться от тела и заглянуть по ту сторону бытия... Слушали рассказы о чудесах, о видениях, о таинственных пророчествах. Сама смерть была обставлена так, что была красота и в смерти. Помнит Оля красивый гроб, утопающий в белых розах, нарциссах и гиацинтах. На белой атласной подушке завитые парикмахером лежат кольцами **золотые волосы. Белое лицо с обострившимся носом кажется выточенным из мрамора и трепещут на нем тени черных ресниц.** Кругом красота черных траурных туалетов, блеск эпалет и перевязей, девушка в черном платье и мальчик в Пажеском мундире на коленях у гроба. В гробу Вера Константиновна Саблина. У гроба — Таня и Коля.

Потом война. И в войне была красота. На фронте в конной атаке убили Колю и в смерти его был незабываемый подвиг... Убит был веселый и безпутный Манюшков и про его лихое дело писали в газетах. На войне умирали, мучились, страдали, но в столицу и смерть и страдания приходи-

ли, претворенные в красоту подвига, и про смерть забывалось.

Теснила и жала война... Не всегда подавали те булки к чаю, которые хотелось, забрали рысаков по военноконской повинности и сдали их в артиллерию. Запаздывали Лондонские кипсеки и французские иллюстрации приходили неаккуратно, многие номера были потеряны. Из деревни письма не доходили. Были заминки, были неудобства, но жизнь шла все такая же, сложная, духовная, полная тонких переживаний.

Но пришла революция. Были сорваны родные Русские цвета и на место них под самым окном нависла красная тряпка. Увезли в далекую Сибирь Государя и его семью. Отец скитается неизвестно где и четвертый месяц о нем ничего не слышно. Нет ни писем, ни газет. Братья бежали. Генерала Саблина схватили солдаты и тащили куда то, и из всего сложного красивого мира остались Павлик и Ника, сестра Валентина, Ермолов и молодежь, обреченная на смерть.

Как то сразу простая и красивая жизнь стала сложною и безобразною. Мелочи жизни выплыли на первый план и тело, незаметное в прежней духовной красивой жизни, подняло голову и заговорило властно и требовательно. И, чтобы не опуститься, не забыть заветов красоты, приходилось бороться с самою собой. Голод, отсутствие привычного комфорта, слоняние из угла в угол в толпе, страдания ближних, страдания своего тела, грязь — все это убило красоту и поставило Олю лицом к лицу перед тем страшным, что называется жизнью.

Павлик украл у крестьянки полотно и из него шили рубахи для раненых и сестер и Оле сшили из того полотна рубашку. Третьего дня, санитар, по просьбе сестры Ирины, с дракой отнял у казака каравай белого хлеба и его поделили между больными и ранеными и сестрам дали. Каждый вечер были ссоры из за ночлега, каждое утро была перебранка из за подвод и едкие, колючие слова срывались с уст сестер, отстаивавших своих раненых.

Днем мокли и мерзли, днем голодали, ночью не могли уснуть от насекомых, не имели постелей и валились в повалку на пол, забываясь тяжелым сном без грез. Тело страдало, тело стремилось побороть душу и душа отчаянно защищалась... И в этой сутолоке и тесноте, душа хотела грезить, и ночью, выйдя на холод степи и глядя на звездное небо, Оля повторяла стихи Бодлэра, Оля грезила прошлым, мечтала об опере и ей так понятна становилась мольба сестры Ирины: — „Федя, ты бы хоть на гармонике поиграл!”

Ведь вернется все это? Не навсегда же вытравила красоту и любовь кровавая революция!

Вернется.

... Но, если и вернется? К чему ей это, если нет его. Все вернется, но он никогда не вернется!..

Как проста и красива была жизнь прежде...

#### XXIV.

„Что это!.. Господи, что это?..” Это идет Ермолов. Живой, здоровый, даже не раненый. Левая рука после первой раны заложена за борт шинели. Значит, все сочиняли о том, что он убит. Забилось сердце Оли и послало краску на похудевшие щеки. Ноги задрожали от волнения и глаза затуманило слезами.

— Я вас ищу, Ольга Николаевна, по всей станице, — сказал Ермолов. — Урвался из боя, воспользовавшись ночью тишиною и тем, что нас сменили и отвели в резерв и решил повидаться с вами. Мне так много нужно вам сказать.

— Говорите Сергей Ипполитович. Я вас слушаю. — сказала Оля.

Они сели на обрыве на краю сада. Внизу, уже поглощенная мраком ночи, туманами клубилась долина Кубани и сверкали вдали, горели и переливались огни Екатеринодара, точно чешуя сказочного змея.

— Командира убили.., коротко, вздыхая тяжелым, глубоким вздохом, проговорил Ермолов.

— Кого... Нежинцева? спросила Оля.

- Да... его.

— Когда?

— Сегодня. Под самым Екатеринодаром. В улицах был бой... Ах, Ольга Николаевна все не то... Третьего дня командир просил уволить его от командования полком. Полк не тот. Нас, старых добровольцев, осталось очень мало. Молодежь не знает боя. Спутались. Ну, и... драгнули... Вы знаете Нежинцева. Какой это был удар для него! Он покончить с собою хотел. От стыда за полк... Ну вот и покончил.

Ермолов сказал последние слова глухим голосом. Мука звучала в них.

— **Дают пополнения. А того не понимают, что Корниловскому полку пополнения должны быть особые, а не необстрелянные мальчишки. Нельзя позорить светлое знамя Корниловского полка. Нежинцев это понимал. Ольга Николаевна! Идея добровольческой армии — это идея России. Борьба чистоты и правды против насилия и лжи. А я боюсь... если так будет дальше... у нас будет... Тоже ложь...**

Ермолов закрыл лицо руками. Он казалось плакал. Но, когда он оторвал ладони от глаз, глаза были сухи.

— Корнилов приезжал. Он стал на колени над Нежинцевым, поцеловал его и перекрестил. Мне пришлось провожать Корнилова и остаться при нем до вечера... Мы все обреченные на смерть. И он обреченный...

Оля взяла руку Ермолова и тихо гладила ее своею ладонью.

— Ольга Николаевна. Я покаяться пришел. Я сегодня поймал себя на подлой мысли... Неужели я... шкурник...

- Что вы, Сергей Ипполитович... Придет — же в голову!

— А вот, слушайте... У Корнилова наблюдательный пункт на ферме. Ферма одноэтажный домик в три окна по фасаду, стоит над обрывом реки. Фруктовый сад подошел к самому обрыву, а внизу весь Екатеринодар. Бой идет в садах. **Красная артиллерия ведет ураганный огонь. Я насчитал семьдесят пять выстрелов в минуту. Мы молчим. Отвечать не из чего. Пушек почти нет, снарядов мало... Смотрю я на**

Екатеринодар и вдруг мне так ясно стало, что в Екатеринодар нам войти нельзя. Екатеринодар это ловушка. Войдем мы в него, — нач теперь и четырех тысяч нет, — и погибнем там... Не удержимся. В уличном бою растаем. И тут я посмотрел на Корнилова. Он страшно исхудал. Черные седеющие волосы прилипли к желтым вискам. Нос обострился, глаза ввалились и из глазных впадин, прищуренные, узкие, острые глядят несокрушимою волею. Понял я, что он решил **войти во что бы то ни стало. И он войдет. И себя погубит** и нас погубит, но войдет... Я понял его. И вот тут то...

Ермолов шопотом скороговоркою договорил:

— Я подумал... А если бы его не стало... Если бы его убило... Он умер бы... Но спаслась бы добровольческая армия. Спасена была бы идея... Я спасен бы был... А? Что!.. нервно вскрикнул Ермолов... — ведь это... Это... Ведь я же шкурник... Такой же, как Митенька Катов, как все те... тыловые герои!!

— Успокойтесь Сергей Ипполитович. Это минутная слабость... Это нервы.

— Не говорите мне, Ольга Николаевна: — нервы. Да все нервы. И у Митеньки Катова — нервы. Человек оставляет позицию, человек бежит с поля сражения, человек мародерствует... Это... Нервы... Нет! Нет! Бичуйте меня, Ольга Николаевна, назовите меня трусом. От вас я все снесу! И мне легче станет.

— Именно вам я никогда этого не скажу, сказала Оля. Я глубоко верю в вашу доблесть, я знаю и видела вашу храбрость... Я люблю... вас...

Жестокая, грубая рука сжала ее маленькую огрубевшую руку.

— Ольга Николаевна!.. Это не шутка... не фраза. Не нарочно сказанное слово. Для утешения...

— Нет, нет, — горячо сказала Оля, еще крепче сжимая его руку. — Я сказала, что думала, что чувствую. Я никогда не лгу.

— Тогда и я скажу вам... Мы особенные люди и нам можно отбросить условности света... Мы люди без буду-

щего. У нас и прошлое убито... Только сегодня. . ни вчера, ни завтра... Ольга Николаевна, я полюбил вас тогда, когда вы пришли к нам в Ростове на этапную роту. Помните, как вы остались стоять на Таганрогском проспекте и я вышел **к вам, прося зайти обогреться. Вы шатались от усталости** и голода. Вы доверчиво оперлись на мою руку и прошли в наше помещение. Я угощал вас чаем...

— О! Какая я была тогда ужасная!

— Потом, помните, я устроил вам две комнаты для вас и братьев. С тех пор я только и думал о вас. Я знал, что **нельзя этого делать, знал, что ни к чему это, а вот... думал... думал.** Разве сердцу запретить. Молодое оно... Никого не любило...

— Ну, хорошо! Ну, хорошо!.. Милый, — ласково сказала Оля, когда Ермолов поднес ее руку к губам и горячо поцеловал ее. Слезы упали на руку. Так странно было чувствовать, что сильный богатырь Ермолов плакал.

— Так вот... Слушайте... **Что может предложить, о чем может просить обреченный на смерть?.. У меня ничего нет.** Прошлое — прошло. В настоящем: — эти прекрасные миги сегодняшней ночи... В будущем — смерть. Ну. и пускай смерть! Но, если я буду знать, что вы, Ольга Николаевна, любите меня... солдата... добровольца. То мне и умирать станет легко.

Тонкая девичья рука крепко охватила его шею. Пухлые губы до боли прижались к его губам.

— Ну, милый! Зачем так? А Бог!

— Да, Бог! сказал Ермолов.

Оля сняла с шеи маленький золотой крестик. Она перекрестила Ермолова и лицо ее было серьезно, как у ребенка, когда он молится.

— Он сохранит вас! — сказала Оля, и одела крест на шею Ермолова. — Носите его и помните: — он сохранит вас.

Долго они ничего не говорили. Он не выпускал ее руки из своей и смотрел в ее лицо. Большие, отразившие блеск звезд глаза Оли были темны и блестящи. Взглядом своим

она вливала в него мужество своей девичьей Русской души.

— Я пойду, — сказал, наконец, Ермолов. — Пора. До свиданья.

— До свиданья... Любимый...

Оля обняла Ермолова и поцеловала его.

— Да хранит вас Господь!

Ермолов стал спускаться по тропинке, направляясь в долину, где еще горели огни Екатеринодара.

Оля осталась на краю обрыва. Она молилась и думала. — „Господи! Спаси его!..”

## XXV.

Утро занялось совсем летнее, теплое с голубыми туманами над рекой, с золотом горячих лучей, бросающих длинные прохладные тени, с духом крепким и бодрящим. С первыми лучами солнца загрела артиллерия большевиков. Сестры и беженцы толпились на краю станицы, прислушиваясь к бою. Он шел пятый день. Все знали, что маленький отряд Корнилова дошел до полного утомления. Около **половины офицеров, казаков и солдат было ранено и убито. Снаряды и патроны были на исходе, свежих сил не было.** К большевикам подходили подкрепления и вся „армия” Сорокина была в Екатеринодаре и подле Екатеринодара.

— Возьмут сегодня Екатеринодар, — сказал Катов, **чисто вымытый и хорошо одетый, выдвигаясь из кучки санитаров.** — Уж у меня такое предчувствие, чутье такое, что возьмут.

— **Дал бы Бог,** — проговорил **старый кубанский казак.** Из-под густых, кустами, седых бровей он остро и зорко следил глазами, как плотнее садился в долину туман и обнажались колокольни и куполы собора, крыши вокзала и зданий Владикавказской дороги.

— Дал бы Бог. У меня три внука в обход с Эрдели пошли. Да вишь и четвертый то дома не сидит, все просится... — он показал на мальчика десяти лет, бодро стоявшего под-

ле него. — А только, взять то возьмем, да удержим ли? Сила то его большая, да и народ кругом подлец.

Оля, стоявшая тут-же, задумалась. „Не то же ли самое говорил ей вчера Ермолов? Если в Екатеринодаре погибнет Добровольческая армия, то что же делать! что делать с ранеными, с самими собой?“

— Как бьет по ферме, — сказал раненый ночью офицер. Вчера там был штаб Корнилова. Хорошо, если сегодня его нет там.

— Где это? — спросило несколько человек.

— А вон, глядите, над Кубанью. Так и засыпает... Вон видите маленький белый под железную крышею домик с двумя трубами. Сад кругом.

— Я вижу в бинокль его значек. Он, покосившись, стоит прислоненный к кустам, — сказал Катов. Ну да, конечно, это его флаг. А вот сейчас... Не вижу... он упал...

— Упал значек Корнилова?.. — с ужасом в голосе спросил раненый офицер. — Упал наш Русский флаг?!

— Ну да, что же особенного? Лежит, должно быть, в пыли...

— Боже! Боже! Что же это такое! А людей вы не видите?

— Нет, они, верно, за домом. Да чему вы так взволновались?

— Нет, ничего... Это так только. Я... загадал.

Люди приходили и уходили. Сестры заглядывали к раненым, поправляли подушки, давали воду, хлопотали о чае. Внизу неровно шел бой. Не было той постоянной стрельбы, которая была все эти четыре дня, но перестрелка вспыхивала в садах на несколько минут, вялая, безжизненная и сейчас же обрывалась. Точно обе стороны не желали больше воевать.

— По моему, — сказал Катов, — вчера перестрелка была глубже в улицах. Сегодня она больше по окраинам. Не отошли ли наши?

— Сегодня наши должны взять Екатеринодар, таков приказ Верховного, — вяло сказал офицер с перевязанною рукою.

От Екатеринодара подходили люди. Это были любопытные, подошедшие от станиц на разведку, раненые, могущие сами добраться до перевязочного пункта, но между ними попадались и здоровые добровольцы. Они подходили к обозам и садились подле телег. Их лица были землисто-серые, безжизненные, глаза смотрели в землю. Они неуверенными движениями доставали табак, сворачивали папиросы и закуривали. И по тому, как двигали они руками и ногами, вяло и машинально, можно было понять, что голова их не тем занята.

— Корнилов убит...

Кто сказал? Никто не заметил, но все услышали. Посыпались вопросы.

— Нет, ранен, — сказал кто-то, не поворачивая головы.

— Убит, — сказал длинный кадет с совершенно изсохшим лицом. — **Только скрывают. Я сам видал. Умер. Лежит на берегу Кубани.**

— Как?.. Где?.. Вы сами видали? , раздался голоса. Кое-кто ближе пододвинулся к кадету.

— Ну да-же!.. Пропала Россия... И флаг его, трехцветный... Святой Русский флаг за фермой, в пыли лежит, весь грязью запачканный. Никому не нужный!.. Пропала Россия. — со слезами в голосе воскликнул раненый офицер.

— Да, постойте! Говорите же толком!.. Вы сами видали? Где же вы были?

— А подле фермы. Я помощник телефониста.

— **Но позвольте, кто же вам позволил уйти?** — грозно спросил Катов. — Это, молодой человек, дезертирство!.. Да! Вы ответите.

Оставьте, право, — бледным усталым голосом сказал юноша. — Вы же ничего не понимаете. Наши отходят уже... Не к чему драться.

— Да, скажите, в чем дело? — спросил раненый офицер.

— С утра начался его обстрел, — печально заговорил кадет. — По ферме бил. Он еще с вечера пристрелялся. Штаб

перевели ниже. Просили Корнилова перейти. Он остался. Он уже, господа, мертвый был.

— Как? Да что вы говорите!

— То есть, он еще живой был, но как бы мертвый. Я ночью пять раз ему телефонограммы подавал. Он все ходит и чай пьет. На меня посмотрел — так, ей Богу, господа, я много ужасов видал, а такого взгляда не забуду. Он на меня смотрит, а видит совсем не меня. Он уже, что там видит.

— Просто, устал человек, замучился, — сказала сестра Валентина.

— Нет, сестрица. Нет, я точно видел. Особенный это взгляд. Это не усталость!

— Ну... Дальше.

— Часов около шести, сменялся патруль около фермы. И сейчас же начался и обстрел. Значит, — заметили они патруль. Ведь, господа, там всего три версты до него было. Прилетело несколько шрапнелей, лопнуло: — недолет дали. Только пули, слышать, пропели. Вторые закопались сзади фермы, — значит: в вилку взяли... Вышел генерал Деникин и говорит другому генералу: — „ну, тут нечего дожидаться! дело ясное!“ И спустились они под горку, к реке. На откосе сели. За ними генерал Богаевский с адъютантом своим вышел, тоже сел с Деникиным. Я посмотрел: вижу флаг его стоит прислоненный к кустам и так от сотрясения, или что, вот-вот упадет. Я и подумал: — „надо крепче поставить, а то не хорошо: Русский флаг и в грязи...“ Да... А тут взрыв в самой ферме. Мы так и ахнули. Адъютант Верховного, Долинский, выбегает. Трясется весь. Голос дрожит... Верховный... Верховный”, а что Верховный и не сказал. Опять убежал в хату. Ну, тут казаки и туркмены бросились. Долинский с туркменским офицером Резак-беком выносят Корнилова, крови нигде не заметно, только лицо белое, как у покойника. Понесли на берег. За доктором послали... Пришел доктор, осматривал его долго. Потом... вижу все шапки сняли. Крестятся... Ну, я понял... Кончился. Пошел к его флагу. Гляжу: лежит, в пыли, грязи... Знамя наше святое... Телефон разбило. Ну, я пошел... Слышу только: Деникин

командование принял. Алексеев приехал. Он ему так и сказал: „у нас“, мол, „давно с Лавром Георгиевичем это условлено, ежели что случится“... Алексеев промолчал.

Раненый офицер порылся на груди, достал ржавый, старый, истертый кожаный бумажник и вынул из него вырезку из газеты.

— Исполнил генерал Корнилов то, что давно решил, — торжественно сказал он. — Помните, что сказал он в августе: — „тяжелое сознание неминуемой гибели страны повелевает мне, в эти грозные дни, призвать всех Русских людей к спасению умирающей Родины, всех — у кого бьется в груди Русское сердце, кто верит в Бога, в право, в храм. **Предать Россию в руки ее исконного врага и сделать народ рабами немцев я не могу, не в силах, и предпочитаю умереть на поле чести брани, чтобы не видеть позора и срама Русской земли...**” И года не прошло. Корнилов умер! Ужели нам придется увидеть позор и срам Русской земли?

В станицу въехал казачий офицер.

— Господа! — сказал он, ни к кому не обращаясь, — собирайте обозы и легко раненых, которые могут идти сами и кого можно везти рысью без перевязки... Приказано отступать от Екатеринодара.

— Куда? — спросило несколько человек.

— Туда! — неопределенно махнул рукою казак. Лицо его выражало отчаяние.

— А тяжело раненые? — спросила сестра Валентина.

— Главнокомандующий приказал оставить на попечение жителей. Взяты заложники...

## XXVI.

В сумерках Корниловский полк проходил через станицу. **Он шел, как всегда, в полном порядке, но без песен.** За полком ехала казачья парная фурманка, на ней, на соломе, закутанное в шинель лежало тело Корнилова. Караул сопровождал тело.

Оля только что покончила погрузку раненых своей хаты и пропускала полк, чтобы ехать за ним.

Маленьким показался он ей. Поредели его ряды. Вот то отделение, где идут ее братья и с ними рядом должен идти Ермолов. Но его нет. Братья идут одни. Их лица серы, скулы выдались, щеки запали. У Павлика один сапог разошелся совсем и перевязан тряпками. Они смотрели вниз и не видели Оли. **Оля окликнула братьев.**

Павлик мрачно посмотрел на сестру и точно не узнал ее, прошел мимо. Ника вышел из рядов.

— Собирайся Оля и поезжай, — сказал он.

— Где же Сергей Ипполитович? — воскликнула Оля.

— Да что тебе в нем! Мы все конченные люди. Раньше, позже, не все ли равно.

— Ника! Что с ним?..

— Он ранен... Тяжело. В живот. Везти нельзя. Его оставили. Жители записаны и, если что будет, они ответят.

— Где?

— На окраине Елизаветинской, у казака Кравченко. Да ты что же!

— Я пойду туда!

— **Оля, ты с ума сошла!**

— **Нет. Это вы сошли с ума, что оставили его.**

— Оля! Он все равно умрет.

— Тем более. Он умрет у меня на руках. Умрет без злобы и ненависти, благословляя вас.

— Оля, я не пущу тебя!

— Не посмеешь!.. Иди... делай свой долг до конца, а я буду делать свой. Я сестра милосердия прежде, чем сестра твоя, а ты солдат — Корниловец прежде, чем мой брат. Твое место в рядах полка, мое при раненых. Я Русская девушка и ты Русский солдат и мы должны уметь смотреть в глаза смерти!.. Иди!

Оля обняла Нику и поцеловала его.

— Перекрести за меня Павлика, — сказала она. — Папа и мама видят нас! Они помолятся и заступятся за нас!.. Прощай... Родной!

Ника пошел за полком. Он спотыкался и не видел под собою дороги. „Э! все равно“, — думал он. „Корнилова не стало и мы погибнем“.

Оля пошла к сестре Валентине.

— На подвиг идете вы, Олечка, — сказала сестра Валентина, развязывая уже увязанный аптечный чемодан. — Возьмите бинты и лекарства.

Она проворно завязывала пакет.

— А это, — сказала она, подавая маленький пузырек Оле, — если вам будет угрожать что-либо худшее смерти.

— Спасибо, — сказала Оля.

Они простились просто, без лишних слов и без слез. Все это было бы таким ничтожным перед тем, что совершалось в эту прекрасную весеннюю ночь, когда народилась **молодая луна и сладко пахло древесными почками и землею.**

Оля шла по опустевшей станице. Жители попрятались и из-за палисадных виднелись хаты с закрытыми наглухо ставнями. Оля одна шла туда, откуда все спешили уйти. Многие казаки торопливо укладывали повозки и спешили уезжать, боясь кровавой расправы. Оля спрашивала их, где дом казака Кравченко.

— Дальше, дальше, по этой улице, — говорили ей. По правой стороне, второй с края.

Луна уже давала свет и тени тянулись от набухших почками деревьев. Улица спускалась вниз. Попадавшиеся собаки не лаяли, но поджимали хвосты и убежали в калитки.

**Поперек улицы лежал человек с забинтованной головою.** Это был раненый, которого бросили и который застрелился... В таком же положении был и Ермолов.

Оля встретила казаков с лопатами. Должно быть они шли убирать труп самоубийцы.

— Где дом Кравченки? — спросила их Оля.

— К раненым, что-ль? — сказал, останавливаясь, казак.

— К раненым.

— Двое осталось. Третий, вишь, не выдержал. Порешил с собою. Ну, помогай Бог. Второй дом отсюда. Там свет увидите.

Через маленький палисадник была настлана деревянная панель в две доски. Сирень в больших бутонах, кистями висевших с ветвей, протягивалась к Оле и холодными свежими, еще не пахнувшими, но нежными шариками мазала по щекам. Оля поднялась на рундучек, открыла дверь и вошла в комнату. На столе горела лампа. За столом сидели казак с казачкой. Они пили чай. Вдоль стен хаты были положены снопы соломы и на них два человека. Один, с темным лицом, лежал, закатив глаза и непрерывно, мучительно стонал. Он был без памяти.

— Ура! — крикнул он, услышав шаги Оли. — Ура! Все порем, а возьмем!..

Другой был Ермолов. Его лицо было белое и странно чистое в этой грязной обстановке. Большая пуховая подушка была положена ему под голову. Он широко раскрытыми страдающими глазами смотрел на Олю. Он был в сознании и узнал ее.

— Ольга Николаевна, — сказал он и попытался поднять руки. Но они упали снова на шинель. Оля заметила, что кисти рук стали большими и резко выделялась кость запястья и голая по локоть, худая рука.

— Нас бросили? — сказал он, и повел глазами по сторонам.

— Милый мой, — сказала Оля. — Никто и никогда вас не бросал. Все будет хорошо.

— Правда?.. — смотря в самую душу Оли, спросил Ермолов.

— Правда, родной! Все будет, как Богу угодно.

Казак и казачка смотрели на Олю.

— Вы что же, сестрица, проститься что ли пришли? — спросил казак.

— Нет. Я ходить за ними буду. Это мой жених, — сказала Оля.

— Ну так вот что, — вдруг засуетился старик. — Это не дело! Не дело это, говорю тебе, старуха. Придут эти самые большевики, хорошего не будет. Схоронить их надо, слышь, старуха.

— Да где схоронишь-то? — спросила старуха.

— Где? А на клуне, старая. Теперь тепло. И сестру с нами поместим, а вещами заставим. По утрам молочка принесем, все душу христианскую спасем.

— Эх, старый, в ответ бы не попасть.

— Умолчи! Молчи, мать! Говорю, душу спасти будем! На ее, мать, посмотри, молодая, да красивая пришла, себя не пожалела, а мы что, мы то старые. Много ли нам и надо то! А тут, душу спасем. Душу!

Всю ночь, Оля со стариком и старухой, устраивали на заднем дворе за птичней и сараями помещение для раненых. Достали постели, матрацы, не пожалели чистых простынь и поздней ночью, когда луна уже скрылась, раненых устроили в большом сарае за молотилкой и плугами. С ними устроилась и Оля.

Ермолов лежал в жару и дыхание его было едва заметное, другой раненый, тридцатилетний капитан, метался и стонал. Бред не покидал его.

Оля, у которой от усталости ломило руки и ноги, вышла из сарая. Ароматная свежесть была разлита в воздухе. Последние звезды догарают в холодном небе. Восток клубится розовою мглой. Со степи несло старую полынью, черноземом, могучим запахом земли. Тихие стояли деревья сада. Яблони, как невесты, украсились нежным пухом белорозовых бутонов и сладкий волнующий запах шел от них. Внизу широким голубым простором в зеленой раме озимей и ивовых деревьев текла Кубань. Птицы радостно пели на ветвях, приветствуя нарождающееся солнце. Рядом в курятнике встряхивался и кричал еще хриплым голосом петух. За стеною вздыхали лежащие коровы и бык тихо сопел. Кругом были мир и радость бытия. Кругом были богатство и простор, и мать земля дышала плодородием и могучими животворящими соками, ожидая солнца.

На низине, у входа в станицу, грянул выстрел... Другой... Раздались пьяные крики и вопли. Оттуда пробежала, поджав хвост, собака и пугливо озиралась, ничего не понимая.

Большевицские орды входили в станицу.

## XXVII.

Саблин шел, спотыкаясь о кочки и корни деревьев. Его толкали сзади, к нему забегали спереди и дышали ему в лицо зловонными ртами. Кто-то схватил его руки, оттянул их назад и туго связал их платком. Каждую секунду Саблин ожидал выстрела, спереди, или сзади, который прикончит его жизнь. Выстрелы раздавались, но стреляли вверх. Всем распоряжался молодой солдат.

— Погодите, товарищи! — кричал он, — погодите! Это не такой генерал, чтобы его можно было так сразу прикончить. Нет, мы с него допросик снимем, все форменно . . . Не трогай! Не смей! — грозно крикнул он на солдата со злыми светло-серыми глазами, хотевшего колоть штыком Саблина.

— Что же беречь его что-ль будем? Во фронт его превосходительству становиться! — сказал тот, но отступил под окриком молодого солдата.

— Не ваше дело, товарищ, — властно сказал молодой солдат. — Признаю нужным и во фронт станете. Генерал Саблин моя добыча и я сделаю с ним то, что нужно.

Одно мгновение Саблину показалось, что молодой солдат хочет спасти его, что он не враг его, а друг, но эта мысль его не порадовала. “После пинков и оскорблений как жить?! Для чего жить? Это Русские люди, это Русские солдаты, которых я так любил”, — подумал Саблин, — „это Русская армия, которая была для меня всем”.

--- И вы, товарищи, полегче. Это и при Царском режиме не позволялось, чтобы арестанта оскорблять, а когда народно-крестьянская власть — покажи революционную дисциплину. Мы одни можем судить его и знаем, какой муки достоин этот человек.

— Ишь ты! Комиссар! — протянул солдат со злыми глазами.

— Да, и не только комиссар, но и член Цика — с достоинством сказал молодой солдат. — Будете безобразничать, я самому Троцкому напишу.

— А нам плевать на твоего Троцкого! Что он, жид паршивый, предатель! — сказал солдат с бледными глазами.

— Товарищ! В вас говорит темнота и ваше пролетарское происхождение, только потому я не предпринимаю никаких мер. Помните, что это уже контр-революция.

— Оставьте, товарищ, — заговорили кругом солдаты. — Ну что в самом деле шебаршить. Он комиссар, не знаете что-ль.

— Те-же, господа, только из хамов, — прошипел солдат, но оставил Саблина в покое. Он отошел от него и издали погрозил кулаком.

— Ну, подожди, — он выпругался скверным русским словом, — ну, подожди! выпусти ты мне только генерала, своими руками разорву.

— Не беспокойтесь, товарищ, — сказал молодой солдат и такая усмешка скривила его лицо, что Саблин понял, что его не только ожидает смерть, но и самые ужасные муки. И он стал мысленно молиться Богу.

Саблина привели на поезд и посадили со связанными руками в вагон, куда набились вооруженные солдаты. Молодой солдат продолжал распоряжаться. Поезд сейчас же тронулся и минут через двадцать пришел на большую станцию. Здесь Саблина вывели и перевели в классный вагон *mixte*, посадили в купе второго класса и с ним село четыре вооруженных солдата, два у окон и два у дверей. В соседнем купе поместился комиссар.

Вагон долго стоял на месте, потом его передвигали с одного пути на другой, прицепляли и отцепляли и он снова стоял. В окно, то видна была небольшая станционная постройка, то голые ветви акации сада, то степь, по которой гулял и мел снежинки ветер. Солдаты сидели молча и клевали носами. Воздух в купе становился тяжелым и спертым. У Саблина от голода, побоев и дурного воздуха кружилась голова и временами он терял сознание. **Странная вещь, — он**

о смерти не думал. Он так примирился с нею, что она выпала **из его дум. Он думал о том, что его знает в России множе-**ство солдат, что среди тех, которые его арестовали, нашлись люди, опознавшие его, что он всегда был честным и заботился о солдате, как никто, а теперь его обвинили солдаты в том, что он продал свою позицию за сорок тысяч. Но злобы против солдат у него не было. Ему казалось, **что все они сошли с ума, не выдержав напряжения трех** лет войны, окопной жизни, ожидания смерти, удушливых газов, потеряли веру в Бога и теперь захвачены бредом безумного учения.

Лицо комиссара не шло у него из головы. Оно отталкивало, оно и притягивало. „Неужели“, думал Саблин, „это говорит во мне животное чувство благодарности за то, что он не дал солдатам убить меня“. Саблин вспоминал усмешку, искривившую рот комиссара, и понимал, что он спас его для чего то худшего.

„А все-таки спас, а все-таки жизнь!“ — думал Саблин. — За окном, по степи ходили петух и две курицы. Они показались Саблину прекрасными. — „Как это“, подумал он, — „я раньше не замечал сколько красоты в курах“. Крадет-ся кошка — какая красавица! Зелено-серая с черным узором. Ветер вздул на ней пушистую шерсть и она кажется большою и толстой. „Сколько грации в ее движениях, как напрягаются мускулы ее белых лапок **Ведь и она думает** что-то, рассчитывает свои движения и выпускает маленькие коготки, чтобы крепче держаться за землю. Что она думает?.. Петух недовольно потряс головою и лапою разгреб песок, точно расшаркался. И тоже думал о чем-то. В маленькой головке с красным гребнем **копошится мысль**“ . . . — Рядом тяжело вздохнул солдат и снял с потного лба серую папаху. — „И он думает“, подумал Саблин. — „Моя голова на пол аршина от его, а я не знаю, о **чем он думает и он не** знает ни моих дум, ни моих переживаний. А что, если все это только кажется, а ничего нет. Что, если и петух с курами, и серая кошка, и солдаты — только плод моего воображения. Я вижу сны. И во сне передо мною рисуются

прекрасные картины, самые сложные постановки, а ничего нет. Что если и тут ничего нет и все это только кажется и жизнь есть сон. Но я могу потрогать петуха, могу гладить кошку, я могу описать их, заранее сказать, какие они. Да, более совершенный сон, который творят все чувства, а на деле ничего нет. Я один . . . Но и солдат рядом может так же думать, что он один, а я его сон, его представление. И если все это сон, то где же пробуждение?..”

„Смерть. Жизнь только сон, а смерть есть пробуждение от жизни, есть действительная жизнь освобожденного духа. Ну что же, — если суждено прекрасному сну моей жизни завершиться кошмаром — пусть так. Тем радостней будет пробуждение”.

„Боюсь я смерти? Если бы не верил -- боялся бы. Но я верю, что после смерти мое „я” останется и потому не боюсь. Как хорошо было бы увидеть там тех, кого я так любил в жизни. И больше всего мою мать. О! Как давно это было! Фотографии женщины в старомодном платье с **турнюром и стянутой талией, прическа с локонами, спускающимися с висков**, ничего не говорят мне. Но таит мое сердце сладкий запах ее духов и очарование особенной ласки — **женской и в то же время чистой, духовной, равной которой нет**. И кажется она и теперь прекрасною, как Ангел. Кто знает, — не она ли встретит его первую за рубежом?

Звонящим стоном долетает из прошлого воляль Маруси: мой принц! . . . Сколько недосказанного осталось между ними, сколько невыясненного! Что, если там можно будет обо всем поговорить?! Что, если там встречаешь друг друга, как путники после долгой разлуки встречаются с теми, кто оставался дома, и идут безконечные пересказы о том, что было. Там он падет ниц перед Верой и выплечет ей свое горе. Землю и земное нес Саблин и на небо, потому что слишком любил он землю. . . „Коля! И ты меня встретишь!”

О смерти, как о конце, Саблин не думал, он думал о смерти, как о начале. Страдания? а что такое страдание? Когда его ранили — это были страдания, но, когда у него болели зубы — это были еще большие страдания. Когда

его ударяли сегодня по затылку и по лицу, — это было ужасно и кровь кипела в нем от оскорбления и бессильной злобы, но, когда его сволочью и мерзавцем обругал Любо-вин, когда Коржиков у тела несчастной Маруси сказал ему нетерпеливо: „да уходите же!“ — это было более ужасным оскорблением и даже теперь кровь заливает его лицо при одном воспоминании об этом. Все относительно. А главное; — *tout passe, tout casse, tout lasse*\*) — все проходит...

— А что, господин генерал, — глядя на него сказал кон-войный солдат, — тяжело вам с руками назади. Давайте, я развяжу. Не убежите ведь.

— Вы верите, — сказал Саблин, в упор глядя солдату в глаза, — что я мог продать позицию за сорок тысяч ру-блей? Что я истреблял солдат для своего удовольствия? Вы меня знаете?

— Так точно, знаю. В корпусе был у вас. Мы вас очень даже обожали.

— Так зачем же мне бежать. Сами понимаете, что бе-жит тот, кто опасается чего либо, кто виноват, а тот, кто ни в чем не виновен, зачем ему бежать?

— Это точно, — протянул солдат. — А только вы его не знаете... Коржикова...

Кровь отлила от лица Саблина и он спросил, задыхаясь -- кого?

— Да комиссара — то чтоль... Коржикова... Страшный человек. Демон. Он онадысь офицера сам убил. Увидал по-гоны под шинелью, подошел в толпе, вынул револьвер и убил. Он, ваше превосходительство, жестокий человек. Ху-же мужика. Даром, что барин... Да вы что? Эх ослабли как! Товарищ, надо бы генералу чайку согреть, а то вишь грех какой! Сомлел совсем.

— От устатку это, — сказал его сосед. — Ну тоже и пе-револновались.

— Да и есть, гляди, давно ничего не ели.

---

\*) Все проходит, все исчезает, все отмирает.

— Да, накормить надо.

Потерявшего сознание Саблина солдаты уложили на диван, и один из конвойных пошел за кипятком и хлебом.

### XXVIII.

Четверо суток везли Саблина на север. Он находился в полузабытьи. Конвойные сменялись каждый день. Его поили чаем и давали ему хлеба. Два раза приносили жидкий невкусный суп. На пятые сутки, утром, Саблин мельком сквозь полузамерзшее стекло вагона увидел красные казармы, занесенную снегом канаву перед ними и понял, что его привезли в Петербург. Коржикова он не видал все эти дни.

„Если я знаю, кто для меня Коржиков“, — думал Саблин, „то Коржиков вероятно не знает, кто я для него. Если бы ему сказал тайну его рождения тот рыжий социалист, то Коржиков бы выдал себя, а он ничего не сказал... Но, почему тогда он не позволил солдатам отправить его “в штаб генерала Духонина”, а привез сюда, в Петербург?“

Саблин решил молчать, что бы ни случилось.

„Христа замучили и распяли, — но вера Христа и его учение о любви живы уже двадцать веков. Офицерство Русское хранило заветы рыцарства и сдерживало солдат от насилий и зверства. Оно идет на Голгофу и крестную казнь, но идея рыцарства от этого станет еще выше и сильнее. И я должен гордиться, что я не только генерал свиты его величества, не изменивший своему Государю, что я не только георгиевский кавалер, но что мне Господь даст счастье мученической смерти!“

Саблин в эти дни испытывал то светлое чувство, какое испытывали первые Христианские мученики. Душа его просветлела, тело, с его чувствами ушло куда то далеко, и весь он горел ожиданием чего то радостного и великого, что соединит его с Христом...

Поезд остановился на Николаевском вокзале. Было около полудня, когда Саблина вывели из вагона и через густую толпу солдат и народа провели на Знаменскую площадь. У

подъезда их ожидал автомобиль. Саблина посадили между солдатами на заднее сиденье, несколько солдат с ружьями стало на подножки, Коржиков сел рядом с шофером.

„Какого страшного зверя везут“, подумал Саблин. „Как расточительна народная власть! Во времена „царизма“, преступника скромно отправили бы между двумя конвойными, а тут“...

Занесенный мокрым снегом, из снеговых сугробов, величаво смотрел на вокзал чугунный Александр III, и безобразный памятник вдруг стал понятен Саблину и он посмотрел на него с любовью. Громадный царь — мужик, царь великан и телом и духом, тугой уздой сдерживал успокоенную Россию. Он знал и понимал Россию. Он смотрел, на тот путь, который он задумал и который вел на восток. Он отвернулся от запада и застыл в величавом спокойствии.

Автомобиль объехал памятник и свернул по 2-й Рождественской на Суворовский проспект. Знакомые улицы, родные дома смотрели на Саблина. Все было по старому.

Также насуплено и густыми гроззящими тучами было обложено безрадостное небо, так же сырой туман скрадывал дали и пропитывал сыростью тело. Только снега стало больше и бросало автомобиль на ухабах. Не видно было **правильных куч его вдоль тротуаров, панели не были посыпаны песком.** Магазины и лавки стояли пустые с разбитыми стеклами и заколоченными окнами. Кое где видны были длинные очереди и ожидавшие топали ногами от холода, стояли с бледными, не покрасневшими от мороза лицами и равнодушно смотрели на ехавший автомобиль. Трамвай не **ходил и рельсы были занесены снегом.** Автомобиль обогнал не то извозчика не то собственные сани. Сани были без номера, но лошадь, голодная и худая еле бежала и на кучере был рваный армяк и серая папаха. В санях сидел высокий человек с седою бородкой и бледным одутловатым лицом. Саблин узнал в нем знаменитого профессора военных наук, а потом генерала, занимавшего видный пост. В толстой наваченной солдатской шинели без погон и петлиц и в фуражке обвязанной башлыком он ехал по привычному пути к

Академии, где он провел столько лет.

У Академии толпою стояли люди в шинелях и папахах и слышался молодой смех и шутки.

„Они живут” подумал Саблин, „им и горя мало. Они считают себя правыми и идут с жидами создавать III интернационал, раздувать всемирный пожар классово-революции и уничтожить Россию. А на юге их родные братья так же собираются, так же смеются, шутят и готовятся идти спасать эту Россию!”

„Для меня и для тех, кто на юге, дорога Россия со всеми ее красотами, с ее верою православною, с попами, дворянами, офицерами и солдатами, с купцами и сидельцами, с торговками и мужиками, нам дорог наш быт, который вынесли мы из глубины веков и от которого веет былинами про богатырей и победами над природой, над татарами и поляками, над шведами и турками, над англичанами и французами”...

„Им дорога утопия. Им желателен мир, где люди обращены в скотов и, сами того не понимая, они вкладывают шею свою в жидовское ярмо”...

Грязными показались постройки офицерской школы. Стекла в большом манеже были выбиты и подле него не видно было изящных всадников, гарцовавших на прекрасных лошадях.

Автомобиль пересек Лафонскую площадь, въехал в ворота и покатился между громадных полениц дров. У ворот стояла толпа людей в черных пальто, перевязанных пулевыми лентами и вооруженных разнообразными винтовками. На большом крыльце, у колонн, притаились облезлые пулеметы с вложенными лентами. В углу двора, у правого квартала, серым чудовищем стоял броневик и с его круглой башни хмуро глядела тусклая, инеем покрытая пушка.

Молодой человек в черной фуражке, из под которой выбивались черные кудри, с маленькими усиками на бледном лице, в черном студенческом пальто, поверх которого нелепо, задом на перед была надета богатая сабля с новень

ким георгиевским темляком, при револьвере, подошел к автомобилю и спросил:

— Это кто, товарищи,

— Товарищ Коржииков, важно сказал, вылезая из автомобиля Коржииков. — Я привез генерала Саблина.

— Вас ждут, товарищ, почтительно склоняясь, сказал молодой человек и побежал к высоким дверям.

— Пропустить! крикнул он стоявшим у дверей и курившим папиросы красноармейцам.

### XXIX.

В Смольном институте была толчея людей, вооруженных с головы до ног. В обширном вестибюле у колонн и по широкой на два марша лестнице сновали вверх и вниз матросы, солдаты и вооруженные рабочие. Женщины, по большей части молодые, с остриженными по шею волосами, в коротких юбках и шубках, многие с револьверами у пояса, окруженные матросами и красногвардейцами сидели за столиками на площадках и проверяли пропуска. Другие озабоченно перебегали по корридору с какими то бумажками и исчезали в комнатах, из которых суетливо щелкали пишущие машинки. Два солдата несли бельевую корзину с ситным горячим хлебом и их сопровождали вооруженные матросы. Все эти люди были чем то озабочены, но вместе с тем и веселы. Слово товарищ порхало сверху вниз и звучало радостно и непринужденно.

Навстречу Саблину несколько солдат проволокли вниз избитого и окровавленного юношу. Лицо его было залито кровью и Саблину показалось, что он мертв. На него, кроме Саблина, никто не обратил внимания. Хорошо одетая девушка с энергичным интеллигентным лицом, Саблин назвал бы ее барышней, сидевшая за столом на первой площадке под часами спросила у Коржиикова:

— Товарищ, ваш пропуск! Вы к кому?

— Это, выскочив сзади, почтительно заговорил моло-

дой человек в черном, — товарищ Коржиков с пленным генералом Саблиным к товарищу Антонову.

— Пожалуйте, товарищ, в 37-й номер.

Коржиков стал подниматься наверх.

Смольный институт с широкими корридорами и классами на две стороны был полон солдат, рабочих и матросов, слонявшихся по корридорам.

Всюду было грязно. Валялись бумажки, отхожие места издалека давали о себе знать крутым зловонием. На стеклах дверей были небрежно наклеены записки. Над дверями и на дверях остались старые синие вывески с золотыми буквами: „классная дама”, „дортуар”. „VI класс”...

**У комнаты классной дамы стояли часовые, два матроса.** Один настоящий, старый, лет тридцати, с желтым худым лицом, другой мальчик, лет пятнадцати, на котором мешком висела черная шинель и нахлобучена была слишком большая по его голове матросская шапка с черными лентами.

Они свободно пропустили Коржикова.

— Оставьте генерала пока здесь, — сказал Коржиков и Саблина ввели в просторную комнату. В ней уже были люди самого разнообразного звания и вида. Все обратили внимание на Саблина.

В комнате было неопрятно. По углам и вдоль стен валялась солома и матрацы, подушки, старые ватные пальто и узелки с вещами. Воздух был сырой, холодный, прокуренный, полный табачного дыма, испарений грязного человеческого тела и запахов пищи. Видно было, что здесь давно люди живут, спят и едят и комнату редко проветривают.

На столе лежали куски черного хлеба, стояли эмалированные кружки и стеклянные стаканы с мутным грязным напитком, от которого пахло прелым венником, и большой чайник. **Всех сидевших было тринадцать человек: двенадцать мужчин и одна дама.** Большинство были одеты когда то хорошо, но теперь их пиджаки и штаны от валянья на полу смялись и запылились, рубашки пропрели и у многих не было галстуков. Дама сидела в зеленой ватной кофте, видно

с чужого плеча, но была завита и красные, горевшие болезненным румянцем щеки ее были напудрены.

— Профессор! — крикнул с угла стола очень худой, весь издерганный молодой человек с бритым лицом. — **Представьте нас генералу.**

Тот, кого называли профессором, был чистенький опрятный старичок, с тщательно разглаженными седыми бакенбардами на сухом желтом, покрытом мелкими морщинами лице. Он был в черном длинном сюртуке и смятой крахмальной манишке и в стоптанных с дырками сапогах.

— Господин генерал! Ваше превосходительство, — сказал он слабым, красивым голосом и в его светлосерых выпуклых глазах появились слезы. — Вы попали в коммуны забытых. Дай Бог, чтобы и вас забыли, потому что... он запнулся.

— Оставьте, профессор, тревожить тени умерших, — сказал молодой человек. — Нас здесь было сорок четыре человека. Мы попали сюда со времен великой октябрьской революции, когда восторжествовал пролетариат. У нас было четыре генерала, рядом в отдельной комнате помещался великий князь, три депутата думы, шесть членов Учредительного Собрания, шесть юнкеров, пять офицеров, четыре студента, **пять барышень-курсисток и восемь людей разного звания.** Нас всех обвиняли в контр-революции, в сочувствии Керенскому и помощи его войскам. Генералов, офицеров и юнкеров вывели в расход, остальных убрали кого в Кресты, кого в крепость, а нас оставили. Профессор, называйте буржуев.

Профессор, оправившийся от охватившего его волнения, начал опять говорить.

— Я, генерал, заволновался, — сказал он, — потому что вы — генерал. И мне стало страшно за вас. Я не переношу смертной казни, я всю жизнь возмущался против нее, писал громовые статьи, а когда Толстой выступил со своим: “немогу молчать!” — я прочел его статью студентам и пострадал за это.

— Вы знаете, генерал, — сказала грудным густым контраalto дама, отрываясь от папиросы, — большевики ему предлагали палачом стать и расстреливать буржуев.

Профессора передернуло.

— К делу, господа, — крикнул молодой человек.

— Генерал, вы видите людей с издерганными нервами. Июльных, — заговорил снова профессор. — Вы попали как бы в камеру умалишенных. Вот тот молодой человек, которого всего передергивает, это Солдатов, — вы слышали, — знаменитый художник старой школы. Ему тоже предлагали футуристом стать и писать плакаты на вагонах, прославляя выгоды советского строя. Дама, — это Подлесская, — известная пианистка.

— И все-таки: — выйду и напишу то, что задумал, — сказал тот, кого назвали Солдатовым. — Моя первая картина, с которой я выступлю на передвижной выставке по освобождению — будет называться: „смертник“. Я нарисую того артиллерийского генерала, которого помните, взяли от нас в ночь 30 октября. Новенький китель, защитные золотые погоны, георгиевский крест, Владимир на шее. Бледное лицо. Никогда не забуду! И матросы кругом... Потом я напишу картину: “Выборгские мученики” . . .

— Пойдите, Солдатов, надо же всех представить, — сказал его сосед.

— Зачем? — Просто — буржуи и саботажники.

— Садитесь, генерал, сюда, без церемоний, — сказала дама. — Я вас напою чаем. Вы голодны, устали.

— Да. Я устал, — сказал Саблин и удивился сам своему голосу, так он ослабел от голода и бессонных ночей.

— Напейтесь чаю и прилягте. А после пообедаем: — тут кормят недурно, даже мясо иногда дают, тут лучше чем в Крестах, а потом мы постепенно и познакомимся. Все хороший народ. Одно слово: — буржуи!

Саблин сел на край скамейки и ему дали кружку с теплым чаем.

Его сосед, пожилой человек с очень худым и бледным лицом и длинной волнистой жидкой седеющей бородой, в

пенсне, оказавшийся богатым домовладельцем города Павловска нагнулся к его уху и зашептал:

— Вы видите, в углу сидит рыжий, с круглым лицом, в веснушках, да... Его опасайтесь. У нас подозрение, что он коммунист и нарочно подослан. А остальные свои люди, настоящие буржуи!..

После чая Саблин прошел в соседнюю комнату, которая оказалась умывальной младшего класса институток, потому что в ней были низко приделаны умывальники с металлическими кранами, подложил под себя на асфальтовом полу свое пальто и заснул крепким, тяжелым сном без сновидений.

### XXX.

В одиннадцатом часу вечера за Саблиным пришло два красноармейца.

— Генерала Саблина на допрос! — воскликнул один из них.

— Прощайте, милый генерал! Храни вас Господь, — сказала Подлесская.

Саблин поднялся и вышел. Обед, который и правда был сытный и достаточный, и чай его подкрепили. Голос окреп. **Нервы были в порядке. Саблина провели по коридору и ввели в большую комнату, вероятно, бывший институтский класс.** В комнате, кроме небольшого стола со стулом, стоявшего по середине и шкапа со старыми бумагами в углу, не было никакой другой мебели. Паркетный пол был заплеван и заслежен грязными сапогами. Над столом, спускаясь с потолка на проволоке, тускло горела одинокая лампочка с потемневшим закоптелым колпаком. Углы комнаты тонули во мраке. В большие многостекольные окна гляделась холодная зимняя ночь. Топот шагов и голоса людей, не переставая и ночью ходивших по коридору доносились сюда глухо. Красногвардейцы, приведшие Саблина, остались у дверей. Саблин подошел к столу и сел на стул.

**Прошло четверть часа. В коридоре часы пробили одиннадцатый. Красногвардейцы стояли у дверей, опираясь на ружья, и по временам тяжело вздыхали. Это были обыкновенные Петербургские рабочие с хмурыми лицами, один был безусый, другой в рыжих щетинистых усах.**

В двери торопливыми шагами прошел человек невысокого роста, с конопатым некрасивым лицом, бритый, нескладно сложенный, с длинными, как у обезьяны, руками и короткими ногами. Он решительно подошел к Саблину и остановился у столика. Саблин смотрел на него.

— Ваше превосходительство, — заговорил он, — вы в наших руках. Мы можем сделать с вами все, что хотим.

Он замолчал, как будто ожидая протеста, или возражений. Саблин ничего не сказал.

— Все, все... до смерти включительно... -- выкликнул маленький человек, ероша на голове густые вьющиеся рыжеватые волосы. — Но мы можем вас и помиловать, мы можем вас вознести на такую высоту, на какой вы не были при Царском правительстве. Правда . . . тогда вы делали, что хотели, теперь вы будете нам служить и мы будем следить за тем, чтобы вы нам не изменили. Мы не обещаем вам, что мы вас не повесим по ошибке, но мы обещаем вам, что мы прикончим с вами безотказно, если вы попытаете нам изменить. Вас, ваше превосходительство, обвиняют в том, что вы пробирались на юг, к генералам Алексееву и Каледину, чтобы идти против Советской власти. Это обвинение настолько доказано, что мы не нуждаемся в дальнейшем допросе.

— Я и не отрицаю этого, — сказал спокойно Саблин, оглядывая с головы до ног маленького нескладного человека. — Я ехал к Донскому Атаману Каледину, чтобы помогать ему в священной борьбе за свободу России.

-- Ну вот... Вы напрасно ехали. 30-го января Атаман Каледин застрелился. Он понял, что он шел против народа, что он был игрушкой в руках иностранного капитала и он покончил с собою. На Дону рабоче-казацкая власть. На До-

ну советы. Ваше превосходительство, сопротивление бесполезно. Атаман Дудов разбит и окружен в Оренбурге, Алексеев бежал из Ростова. Весь народ признал власть народных комиссаров, единственную после Царской законную власть.

— Вы считаете царскую власть законной?

— Безусловно. Я служил в охранной полиции Его Величества. Но, когда Государь отрекся, ваше превосходительство, временное правительство не имело никакого права захватывать власть в свои руки. Единственная выборная власть, которая была законна: это советы. Князя Львова и даже Керенского, несмотря на его широкую популярность во всех слоях общества, не признал никто. Ленина признали все.

— Вы звали меня сюда для допроса, или для выслушания обвинения? — перебил Саблин.

— Ни для того, ни для другого, ваше превосходительство. Мне приказано передать вам лестное предложение вступить в революционный военный совет и помочь нам своими знаниями, как специалист, создавать народную красную армию.

— Вы социалисты? — сказал Саблин.

— Да, мы большевики. Мы коммунисты.

— Так для чего же вам армия? Ведь социалистическое учение отрицает армию, дисциплину, начальников.

— Совершенно верно. Но обстоятельства не позволяют еще нам провести наше учение в полной чистоте. Английский и французский капиталы ополчились против нас. Они формируют безчисленные белогвардейские банды и завоевания революции в опасности. Нам нужно сделать весь народ способным к обороне, милитаризировать страну. Мы хорошо знаем способности вашего превосходительства и я имею поручение от совета народных комиссаров, в частности от председателя рев-воен-совета, товарища Троцкого, предложить вам занять большое место в народной красной армии. Я не знаю какое — это подробность. Военного министра, командующего фронтом — не меньше.

— Я могу видеть товарища Троцкого? — сказал, вставая, Саблин.

— Для чего?

— Чтобы дать ему в морду за его гнусное предложение! — воскликнул Саблин таким громовым голосом, что часовые встрепенулись.

— Ах, ваше превосходительство, ваше превосходительство, — качая головою, сказал маленький человек. — Жаль мне вас очень, потому что много хорошего я про вас слышал.

В комнату вошел красавец-матрос. Он был очень высокого роста, пропорционально сложен, мускулист и силен. Черные волосы вились и природными локонами лезли на лоб и на брови. Большие масляные глаза смотрели открыто. На нем был черный гвардейский бушлат без погон и шаровары, заправленные в щегольские сапоги. Отвагой и удалью дышало от его широкого красивого лица. Он подошел к маленькому человеку и сказал:

— Ну как, товарищ Андрей. Уломали генерала.

Тот пожал плечами.

— Господин генерал, — сказал матрос и Саблин почувствовал запах тонкого вина. — Идите, не колеблясь... Во первых — идея: — вся власть советам, Русскому народу. Ведь это тоже: единая, неделимая! Не всегда жида верховодить нами будут, когда-нибудь и сами сядем на них. А потом жизнь вам скажу: --- разлюлималина. Прекрасный пол, вино и прочее. Я женат на генеральской дочери и кроме того успехи имею. И вам мы бы таких пролетарочек социализнули -- пальчики оближете. Армия будет настоящая. Можно и в морду захватить и все прочее, лишь бы не контрреволюция. Да... господин генерал рекомендую!

— Я пойду доложу ваше решение в совет, — сказал маленький человек. — Не передумали.

— Ох, господин генерал, передумайте. Жалко вас. Ведь иначе выбор один — лицом-ли, спиною, а к стенке... Гибнет цвет России. Одно упрямство.

— Я сказал, — стиснув зубы, проговорил Саблин.

— Хорошо, я доложу.

Маленький человек вышел вместе с матросом.

Саблин стал ходить по комнате взад и вперед. Он останавливался у окна. За окном был сад, заиндевелые старые липы и дубы протягивали кривые черные сучья, запорошенные снегом, глубокие сугробы лежали в саду. За каменной стеною, с каменными беседками, широким белым полотном расстилалась Нева и на том берегу тускло светились окна в маленьких домиках на Охте.

„Разбить окно и броситься с третьего этажа на снег”, подумал Саблин. — „Быть может, есть и шанс, что не убьешься. А дальше что? Опять погоня, крики, улюлюканье, выстрелы, погоня, оскорбления”...

„Претерпевый до конца, той спасется!”

„Христос терпел и нам терпеть велел”, вспомнил Саблин наставление своей няни и отвернулся от окна.

**В коридоре стучали ружьями и сапогами. Большой отряд, человек двадцать матросов, вошел нестройною толпою в комнату и окружил Саблина. За ними быстро вошел среднего роста рыжеватый еврей в закрытом военном френче, шараварах и сапогах с черными кожаными голенищами.** Он держался очень прямо и голова его была задрана кверху. Маленькая бородка торчала вперед. На тонком носу было пенсне.

— Генерал Саблин, властно сказал он, — вы отказываетесь служить нам своими знаниями и опытом... Значит, вы не успели еще. Погодите, голод научит вас. Вот, как поторгуете газетами на улице, послужите швейцарами, побегаете по банкам, ища грошевого заработка, узнаете нищету — станете сговорчивее... В Петропавловскую!... В Тру бецкой!... Впредь до распоряжения!... гневно крикнул он. И не успел Саблин что-либо сказать, как еврей вышел быстрыми твердыми шагами.

В ту же ночь Саблина перевезли на грузовом автомобиле в Петропавловскую крепость и заточили в одиночной камере в небольшом двухэтажном доме за монетным двором.

XXXI.

Широкими степными шляхами, бурьяном поросшими, мутными реками, в камышах притаившимися, запрятавшимися между балок крутых и извилистых, станичными глухими проулочками среди плетней затерявшимися, садами пахучими от духа вишневого цвета, сирени и черемухи, заросшими и тенистыми, полными мечтательной тайны шел шопот по Дону. **Тихий и въедливый. С оговоркой, с оглядками,** недосказанно говорили по станицам и хуторам, по белым мазанкам и кирпичным под железо выведенным домам, по казармам и школам, везде, где стояли станичники о том, что новая власть комиссарская „не тае” будет, „не подходяшна для нашего казачьего обихода”.

Темными весенними ночами приходили из степи молодые исхудалые люди с горящими, как у волков голодными глазами, крестились на иконы, садились на лавку и говорили **тихо и вкрадчиво о донской старине, о вольности казачьей.**

— Да разве тако е бывало, — говорили они. — Иногородние сели на горб казакам и правят, а по какому такому праву? И кто их выбирал?

— Заслужили, значит, свое. — мрачно, глядя в сторону, говорил хозяин хаты и ближе подвигался к рассказчику.

— В Персиановском лагере церковь осквернили, над иконами святыми надругались..., — тихо говорил пришелец.

— Митрополита по городу таскали..., — добавлял он. помолчав.

— Офицеров перебили. А за что? Не такие же они казаки? Не наши сыновья, или братья, — уже смелее доказывал он.

— **И кто! и кто делает-то все это? Подтелков, а кто он Подтелков? Слышал ты его? Ума то его пытал — что ли? Знать его способности? Он только вино жрать и здоров,** — наконец, высказывал затаенную свою мысль и хозяин хаты.

В Новочеркасске освободили из тюрьмы Митрофана Пе-

тровича Богаевского, помощника Атамана Каледина и привезли его в кадетский корпус.

— Рассказывай про былую славу нашу и вольность, — сказали ему казаки Голубовцы.

Без малого три часа говорил Митрофан Петрович. Это была его лебединая песня. Хмуρο слушали его казаки. Тяжко вздыхали. Отвезли потом назад на гауптвахту. А когда пришел к ним Голубов и стал свое говорить про советскую власть раздались из рядов гневные окрики:

— Довольно... Завел нас, сукин сын! Замотал сам не знает куда.

Косились казаки на матросов и красногвардейцев, распоряжавшихся по Новочеркаску, косились, но молчали. Особняком держались. Своими казачьими караулами заняли музей и институт, не позволили осквернить собора. Чувствовалось, что разные люди стоят в городе и по разному думают. Из станиц перестали возить хлеб и мясо на базар и стало красное воинство недоедать.

Красноармейские банды, руководимые Подтелковым, Антоновым, Сиверсом и Марусей Никифоровой, расплзались по железным дорогам. Это были красные дни красной гвардии. Дисциплины не признавали, вожди были выборные, да и их не слушались. Поход был кровавый хмельной праздник, охота на жирного буржуа, сплошной грабеж и издевательство. Путешествовали эшелонами, выходя из вагонов лишь для боя и грабежа. Тут же в вагонах везли и награбленное имущество, степных дорог не признавали и от железнодорожных путей не отходили.

В Новочеркаске свирепствовали Голубов, Подтелков и Медведов, мрачный триумвират, в Ростове фон Сиверс расстреливал с балкона Палас-отеля между рюмками ликера юнкеров, под Батайском шарил Маруся Никифорова — кавалерист-девица, собственноручно пытавшая пленных; по путям югозападной дороги, в Донецком бассейне „правил” гимназист Антонов, а в 20-ти верстах от Новочеркасса за разлившимся Доном, за голубыми водными просторами по станицам робко сидели комиссары из местной голытьбы, из

лавочных сидельцев и аптекарских учеников и до смерти боялись казаков. Там шло все по старому.

А могучая степь по весеннему дышала, поднималась зеленью трав, вставала утренними туманами, играла днем волшебными миражами среди неоглядного солнечного простора и несла свои думы и рассказывала свои сказки казакам.

Настало время пахать и „Господи благослови!” — запряг казак больших круторогих волов в плуги и вышел в степь поднимать Божью ниву. Наступило время работать в зеленых виноградных садах и пошли казаки и казачки завивать лозы и устраивать „кусты”, чтобы привольно было зреть винограду.

И в степи необъятной, и в садах прохладных, молодыми ярко зелеными листочками лоз покрытых, слышали казаки вековую правду. Тени предков явились в грезах сонных на степных шалашах и по крутым садовым откосам, рассказал о ней плеском синих волн Тихий Дон, разлившийся по всему широкому займищу, и фронтовики, ходившие всю зиму панычами, стали заботно оглядывать плуги и бороны. стали выходить на свои паевые надель. Хмарь и туман проходили. Лозунги и резолюции, шумные митинги казались тусклыми и ненужными, стыдно становилось содеянного.

„Эх!” говорили они. — „Не на кого опереться. Чтож, его сила. Большевики-то весь Русский народ. Кабы было на что опереться, стряхнули бы мы всех комиссаров”.

Историк, который будет изучать противобольшевистское движение должен будет остановиться на следующих **причинах, положивших начало оздоровлению юга России** весной 1918 года. И первая причина была, конечно, та, что поборы, насилия и убийства, касавшиеся только горожан, „буржуев”, офицеров и бывшие выгодными для казаков, так как давали им добычу, — коснулись и самих казаков. В марте большевики отправили из Новочеркасска матросов в станицу Кривянскую за мукою и скотом для продовольствия гарнизона. Коммуна стала осуществлять свои права. Их встретили топорами и дубьем. Был послан карательный отряд. Из-за Новочеркасского вокзала стали обстреливать Кривян-

скую артиллерийским огнем, сожгли до трехсот хат, но казаков не испугали, но озлобили. И пришлось бы смолчать казакам, пришлось бы им покориться, если бы не сложились в это время все обстоятельства благоприятно для восстания.

Вторая причина была та, что явилась надежда у лучших казаков, что порядок восстановить можно, а у худших казаков явился страх ответственности. Темные, глухие, неясные неслись по степи слухи о немцах, уже пришедших на Украину и повсюду восстановивших порядок. Это приближение германских частей генерала фон Кнерцера сыграло двойную роль. Оно дало возможность опереться на немцев, создать из полосы ими занятой надежную базу, с другой стороны дало возможность возбудить патриотизм среди казаков и поднять их для того, чтобы не допустить немцев поработить себя.

Третья причина была та, что на Дону вместо людей расплывчатых решений и соглашательского характера, шатающихся между властью и демократией, явились люди сильного характера, твердой воли, страстные патриоты, способные владеть умами казаков. Такими людьми были Георгий Петрович Янов и полковник генерального штаба Святослав Варламович Денисов. Эти люди знали, чего хотели. Они сознали, что Россия временно рухнула, провалилась в кошмарное небытие, разложилась на составные части, из которых ни одной Русской не было. Создать из войска Донского такую Русскую часть стало идеею этих людей и этой идеей они увлекли казаков.

Если к этому прибавить, что с востока шли, правда, весьма смутные слухи о том, что из Сибири идет Адмирал Колчак, а на западе упорно говорили, что с немцами идет генерал Щербачев со всею Румынскою армией, то ясно станет, что на Дону создавалось настроение боязливое, — **приближался тот „ответ“, которого так боялись все впутанные в кровь и преступление казаки.**

Эти-то условия, — то есть то, что, во первых большевики сняли с себя маску и стали грабить и разрушать казачьи хозяйства не признавая казачьей собственности, во вто-

рых, что появление твердо дисциплинированных германских частей на Украине и восстановление там порядка и собственности ободрило одних и испугало других, в третьих, что на Дону появились честные волевые люди, которые в это трудное время взяли на себя власть и сумели осуществить ее, опираясь на казаков же, а не на офицеров и „буржуев”, в четвертых слухи о Колчаке и Щербачеве — и создали почву. **на которой смог установиться порядок на Дону и могла** возродиться Добровольческая Армия.

**И без этих условий Добровольческая Армия генерала Деникина никогда не смогла бы ни встать на ноги, ни оправиться, ни сорганизоваться.**

**Запумели по станицам и хуторам дерзкие речи про комиссаров.** Открыто, не потаясь читали на севере стихотворение в прозе донского писателя Ф. Д. Крюкова, директора Усть Медведицкой гимназии „Родимый Край”. Пророчески говорил в нем скромный Федор Дмитриевич:

...„Во дни безвременья, в годину смутную развала и паденья духа, я, ненавидя и любя, слезами горькими оплакивал тебя, мой край родной... Но все же верил, все же ждал: за дедовский завет и за родной свой угол, за честь казачества взметнет волну наш Дон седой... Вскипит, взволнуется и кликнет клич, клич чести и свободы!”

„И взволновался Тихий Дон... Клубится по дорогам пыль, ржут кони, блещут пики. Звучат родные песни, серебристый подголосок звенит вдали, как нежная струна... Звенит и плачет, и зовет... То край родной восстал за честь отчины, за славу дедов и отцов, за свой порог родной и угол”.

„Кипит волной, зовет на бой родимый Дон... За честь отчины, за казацье имя кипит, волнуется, шумит седой наш Дон, родимый край”...

Мартовским ясным вечером, когда над степью легла розовая дымка, а в станице сильнее стал пряный запах цветущих яблонь и вишен, вдруг на станичный бульвар, ведущий к собору и присутственным местам высыпала толпа молодежи. Гимназисты реального училища, прозванные шутниками

„реальная сила”, несколько офицеров в светлых погонах, казаки подростки, сопровождаемые большою толпою казаков стариков и фронтовиков 9-го Донского полка шли за старым человеком в судейской фуражке. Это был почетный мировой судья Чумаков. Серые глаза его были полны слез, седые усы беспорядочными прядями спускались к нижней губе, черное пальто моталось над запыленными, длинными складками упавшими на башмаки, штанами. Вся толпа шла к станичному правлению, где заседали комиссары, требовать у них отчета в их управлении.

Молодые голоса запели старую казачью песню, ее невольно подхвалили строевые казаки и по станице полилась широким напевом песня казачья. Зазвучала она, зазвенела, заплакала и стала звать восстать „за честь отчизны, за славу дедов и отцов, за свой порог родной и угол”.

Слава нам, войску Донскому,  
Слава донским казакам,  
Войсковому Атаману  
И станицам и полкам!

Цели в толпе и в перерывах между куплетами песни, молодые мощные басы зычно ревели:

- Долой комиссаров! .

Ночью за глухими ставнями, железными засовами припертыми, в маленьких комнатушках с олеандрами в кадках, мышинными шопотами тревожно шептались по углам станичники.

- - Что то будет! Ой что то будет! Не иначе, как Чумакова к стенке поставят.

--- Слышать с Ростова пароходы идут с матросами и красногвардейцами.

Липкий страх бродил по темным углам и тревожно прислушивались к ночной тишине, все ждали выстрелов, жуткого треска залпа расстрелов.

А на утро облегченно вздохнули. По станице неслась радостная весть. Казаки арестовали комиссаров и пригласили старого окружного атамана управлять ими. В боковой улице слышалась бодрая команда. „Первый, второй, тре-

тий"... рассчитывались казаки 9-го полка, формируя сотни на защиту родной станицы. У многих на шинелях уже нашиты были погоны Лихой есаул проскакивал вдоль фронта на **гнедом коне и слышалась смелая команда — „смир-рна!"**..

По Дону, к станице спускался на пароходах „Пустовойтов", „Венера" и „Москва" походный атаман Попов с детьми партизанами, с тою самую молодежью, которую увел он февральским морозным днем из Новочеркаска.

И взволновался Тихий Дон!..

### XXXII.

Сначала движение было стихийное, неорганизованное. Станицы поднимались только для защиты самих себя, изгоняли комиссаров призывали своих старых станичных атаманов, выставляли посты и заставы на дорогах и тревожно ожидали мести большевиков.

Оружия у казаков не было. Советская власть в предвидении возможности восстания, отпускала на Дон с фронта полки, не иначе, как отобрав от них оружие... Там, где станицы были недалеко от железной дороги, большевистская власть посылала карательные отряды с артиллерией и начались сражения уже не с детьми партизанами, как то было при Каледине, а со старыми казаками и фронтовиками. **Народно-крестьянская власть пошла против народа и крестьян** и против нее встали те, кто раньше стоял в оппозиции правительству, или держал нейтралитет. Помощь оружием и патронами нужны были Дону. Все остальное имелось. Организация была готовая, полки еще не потеряли своей спайки, офицеры скрывались, работая в полях, садах и огородах наряду с простыми казаками, и готовы были явиться в полки по первому призыву -- но нужны были ружья, пулеметы и патроны.

Станицы Донецкого округа послали ходоков к немцам просить честной рыцарской помощи и помощь ту получили... Хоперцы со своим вождем, подьесаулом Сойкиным, **восстали на севере Дона, 2-й Донской округ призвал Мамон-**

това, скитавшегося, подобно походному атаману Попову, по степи с гимназистами Нижне-Чирской гимназии, к нему примкнула первая восставшая на Дону станица Суворовская.

В станице Мигулинской семидесятилетний казак, урядник Лагутин, сел на неоседланного маштака, вооружился самодельною пикою и пошел во главе казаков на красногвардейский полк. Разметал, в плен забрал ошалевших солдат и захватил пушки, винтовки и патроны.

На юге восстала Егорлыцкая станица и послала гонцов на Кубань искать помощи у добровольцев.

Казакки готовы были идти с теми самыми „кадетами“, которых выстрелами в спину провожали они два месяца тому назад.

И стало ясно всему Донскому войску, что пока не объединится, не устроятся все это движение — обречено оно на гибель.

Уже рассеяны были отряды Сойкина и сам Сойкин был убит в первом бою, тяжело приходилось Мамоитову, со всех сторон окруженному врагами. Пылали станицы на юге, подожженные карательными отрядами большевиков, есаул Фетисов, на один день захвативший было Новочеркасск должен был отойти и новыми казнями мстили большевики жителям Новочеркасска за свое поражение и тревогу. Притих Новочеркасск. Но и притихнув, ожидал, когда можно будет снова восстать. Не хватало Дону управления, и это управление явилось в лице „круга спасения Дона“.

Остатки старого Калединского круга, но остатки сильные и крепкие, не побоявшиеся вылезть из подполья и заговорить громким голосом о правах казачьих, старые казаки десяти свободных от большевиков станиц собрались около войскового есаула Георгия Янова в станице Заплавской и постановили: — освободить Дон от большевиков и восстановить на Дону атаманскую власть и старое богатое и привольное житье.

Они пригласили скрывавшегося в станице Богаевской под видом железнодорожного техника полковника Денисова и поручили ему формировать станичные дружины...

После февральской революции всю Россию охватило пренебрежение к военной науке. То, что веками считалось непреложными истинами, теперь смело отменялось новаторами военного искусства: Гучковыми, Керенскими, Крыленко и другими, стремившимися демократизировать армию. Стройная система обращалась в хаос, полки заменялись отрядами, партизанство и добровольчество вводилось в систему. Не избежало этого и войско Донское в печальные дни своего развала. Каледину не удалось восстановить старые полки и дивизии и ему пришлось хвататься за отряды и дружины, за партизан Чернецова и Тихона Краснянского, за гимназические дружины Семилетова, за станичные дружины есаулов Назарова и Бокова. Попутно с ними формировались отряды „Стеньки Разина”, „белого дьявола” и т. п. о чем объявлялось в газетах и публиковывалось в специальных объявлениях, расклеиваемых по городу.

Они погибли. Денисов начал с того, что откинул партизанство и добровольчество, и придал станичным дружинам характер старых полков. Он вызвал офицеров и начал с воспитания казаков, собравшихся на защиту Дона по призыву круга спасения.

Широкий разлив Дона отделял его от Новочеркасска и за ним, почти на глазах у большевиков, маршировали, рассыпались цепями, маневрировали Денисовские дружины.

В конце Великого поста партизаны походного атамана Попова соединились с казаками Денисова, и Денисов **задумал смелый план прочно захватить в свои руки Новочеркасск**. Острым военным умом, этот маленький, рыжеватый человек с красивой характерной головою, не по летам молодой, подвижной, крикливый, надоедливый и упорный, понял, что, если он не поторопится сделать это, сделают это немцы, и тогда на Дону разыграются события, подобные Киевским, Атаман будет посажен немцами и будет опираться на немецкие штыки. Не о такой свободе от большевиков мечтали Денисов и Янов. Но Денисов подчинился Походному Атаману Попову, зависел от его штаба, являясь

## От Двуглавого Орла к красному знамени

---

только начальником „южной группы” в которую входили созданные ими из казаков полки.

Попов медлил. Он боялся повторить ошибку Фетисова и не удержаться в Новочеркасске. Приближалась Пасха. Огнем горели глаза у казаков и молодежи. У многих в Новочеркасске были родители, братья, сестры, всем хотелось во что бы то ни стало встретить светлый праздник вместе, **героями войти в этот день в Новочеркасск.**

Денисов учел это настроение и решил вопреки плану, **разработанному в штабе походного атамана, который состоял в нерешительных действиях на Александрo-Грушевск,** — захватить Новочеркасск. Военным умом своим Денисов учуял, что моральное превосходство на его стороне, а в бою — он это знал со школьной скамьи — 2/5 успеха составляет моральный дух войска.

### XXXIII.

Дед Архипов волновался. Он не признал комиссарской власти и, когда комиссары сидели в станице, он скрывался на соседнем зимовнике и как медведь отлеживался в берлоге. Теперь он вернулся, чисто прибрал хату, прошел на конюшню, вычистил, напоил и накормил коня, поседлал его седлом с белометальным убором, надел на себя свой длинный темносиний мундир, нацепил колодку с крестами и медалями, снял со стены старую икону Божией матери с темным коричневым ликом, обложенную серебром, завернул в шелковый выцветший платок и пошел искать по станице „самого главнокомандующего.”

Он шел неторопливо, ведя за чумбур бурого маштака и поднимая пыль ярко начищенными сапогами с задранными кверху носками. Лицо его было благообразно, седая борода тщательно расчесана, седые волосы красивыми кудрями выбивались из-под синей с алым околышем фуражки. С боку висела шашка со старою круглою рукояткою, обвитою по черной коже тонкою медною проволокою. Красный лампас сверкал из-под длинных пол мундира-татарки. Была

страстная суббота и ветер гулял по станице поднимая клубы пыли и завивая их столбами. Великопостные часы отошли в каменной старинной церкви, народ попрятался по хатам. У каждого к великому дню что-либо готовилось.

Архипов шел важный и величавый и толстый мерин его шел за ним, также важно, поглядывая по сторонам. Сзади брела косматая овчарка Архипова.

Встречавшиеся казаки снимали фуражки, или козыряли сединам Архипова и говорили почтительно:

— **Здорово днєвали, Архипыч?**

— Здорово, здорово, — говорил сквозь зубы Архипов и шел дальше.

„И куда это дед собрался“, — думали казаки, — „и со всем хозяйством своим. И Жучка даже забрал“.

А Архипов шел, никого не спрашивая, военной смекалкой **расчитывая отыскать „самого главнокомандующего“**.

Наконец он увидел дом, у которого стояли поседланные казачьи лошади и к которому с двух концов тянулись телефонные черные провода.

— Кто здесь стоять? — спросил он у строевого казака в шинели и при винтовке, дежурившего у дверей.

— — Командующий Южной группой, полковник Денисов, — отвечал тот.

— Полковник, — сказал Архипов. — А не енарал? Чудно говоришь. Говоришь, чего не понимаешь. Енарал будет после завтра. Вот что. Подержи, милый, коня. Я к нему дело имею.

И, бросив чумбур казаку, дед Архипов поднялся не по стариковски бодрыми шагами на крылечко, толкнул дверь и очутился в просторной комнате. За столом, над разложенною картою сидел маленький человек с загорелым лицом и ероша густые волосы, разглядывал карту. С боку стоял, перегнувшись на стол, очень высокий худой офицер в есаульских погонах, с лицом без усов и бороды, и с густыми лохматыми русыми волосами. Сидевший у окна на скамье толстый сотник проворно кинулся к старику и, перегораживая ему дорогу, сказал:

— Сюда нельзя, дедушка. Здесь военный совет.

Архипов посмотрел на толстого офицера и, не останавливаясь, спросил: — который здесь самый главный командующий?

Высокий есаул выпрямился и смотрел на старика. Полковник, склонившийся над картой, вскочил на свои короткие, кривые от верховой езды ноги и с приветливой ласковостью вышел из-за стола навстречу старику.

— Ты чего, дедушка, — сказал он, — обидел, что ли, кто тебя? Какую нужду имеешь ко мне?

Архипов внимательными острыми глазами смотрел на полковника, точно изучал его и оценивал.

— Денисов? — сказал он. Природной казак... А каких Денисовых? Адриану Карпычу, атаману, как придется?

— Родной внук, — отвечал полковник.

— Так, так... Варлам Денисов, полковник, что семью полком командовал, отец приходится?

— Отец.

Старик еще раз зорко окинул глазами полковника Денисова. Морщины, набежавшие на темное загорелое лицо его, разбежались и остались только маленькие черточки, кучками бежавшие к вискам, от которых лицо Архипова лучилось какою то особенною, светлою, чистою, стариковскою радостью.

— Мал золотник, да дорог, — сказал он медленно и раздельно, как бы оценивая по своему малый рост полковника Денисова.

Он развернул принесенную икону Божией Матери и положил ее на стол.

— Владычица! — сказал он, крестясь... — Пресвятая **Божия Матерь! Настал час! Не последний, не конечный час,** настал час и будет! — Я тебя спросил, а ты меня не спросил, кто я, — обратился он к Денисову. — Я — Архипов, урядник 48-го Донского казачьего полка и кавалер. Ну, слухай теперь... Было у мене пять унуков... Один погиб, как в Восточной Пруссии были полки наши... Другой погиб, как Варшаву слобоняли, значит, за поляков погиб. О

третьем писали не то убит, не то без вести пропал в Венгрии. Ну, понимаю, убит значит. Живым Ленька не дастся. Не таковой казак. Четвертого свои солдаты убили, как бунты по России пошли. Пятый в Питербурхе остался, в первом Суворовском полку служил и где он, служит, аль нет — не могу про то определить. Полагательно, что обманули его. Прост был парень и до девок охоч. Не иначе, как соблазнули его... Ну вот. Оставался при мне правнук мой, старшего внука сын, Петушиком его по станице звали. Как Атамана Каледина, значит, защищать пошли и пришел к Чернецову полковнику в отряд Петушок. Вот он самый и есть. Пришел, **и в бою под Горюю, душу свою невинную за Престол и Отечество** Господу сил отдал. Тело его я разыскал. Изуродовано до точности извергами, ну узнать можно. Похоронил тут... Верно все это, над иконою Божией Матери клянусь... Велика жертва казачья. Положило казачество животы свои за мать Россию. А видать мало... Бери, ваше высокоблагородие, меня, и с конем моим, Петушку берег его... и со всем пречендалом моим. Послужу по стариковски... Слушай! послезавтра на заре в Новочеркасске будешь. И не убойся ничего. Все по твоему будет. Задумал правильно. Светлая твоя голова. А икону бери, да охранит святым своим покровом Заступница! Аминь, ваше высокоблагородие.

И, вытягиваясь во фронт, и надевая снятую было пред иконою фуражку, Архипов приложил руку к козырку и рисуясь стариковской выправкой бодро спросил:

— Какой приказ есть, ваше высокоблагородие?

— Приказ... Ординарцем ко мне... Владимир Николаевич, — сказал Денисов толстому сотнику, — прикажите устроить урядника Архипова.

— Кру-гом, — скомандовал сам себе Архипов, повернулся по уставу и пошел из хаты.

— Ты видишь, Георгий Петрович, — сказал Денисов, обращаясь к высокому есаулу.

— Я же что говорил! — горячо воскликнул есаул. — Жив Дон! Эх и с такими золотыми людьми не отстоять своей свободы, не сказать по старому, по казачьему: —

здравствуй, Царь в Кременной Москве, а мы, казаки, на Тихом Дону.

Я — решился, — задумчиво сказал Денисов. — Надо положить предел этим недостойным колебаниям. Новочеркасск нас ждет, мы не можем его обмануть. Ты примешь меры, чтобы Походный Атаман и Сидорин не могли помешать. В ночь с воскресенья на понедельник мы пойдем. А там, что Бог даст!

#### XXXIV.

Светло Христово воскресенье в 1918 году приходилось на 22 апреля. Был яркий, солнечный, но холодный день. В Новочеркасских церквах служили заутрени, а потом обедни. Жители из последних средств собрали муку, напекли пасхи, покрасили яйца и шли, чтобы освятить их по православному обычаю. На пути их встречали красногвардейские патрули и отбирали от них со смехом и грубыми шутками розговены. Всю ночь ходили по Новочеркаску воинские команды красной гвардии, заглядывали в окна, врываются в дома, выходили к Аксаю и тревожно прислушивались и приглядывались к тому, что делалось в Задоньи. Они получили известие, что казаки в пасхальную ночь пойдут на Новочеркасск...

**Холодом и сыростью тянуло от займища, пахло болотную травую и мокрым песком.** С ветром от Богаевской из Заплав, с Кривянки и с Ольгинской, а по Дону и с самого старого Черкаска доносило благовест церквей, видны были горящие светом громадные окна и в темноте ночи чудились тени искрящихся огоньками свечек крестных ходов.

„Богу молятся“... — думали красногвардейцы, — „нет, побоятся, не посмеют напасть“.

Казаки 10-го и 27-го полков были хмуры. Запрятались по квартирам. Совесть глодала их. К ним посылали из Задонья, чтобы перешли казаки к казакам. И не смели. Боялись. Сосало под ложечкой. Злая тоска одолевала... „В случае

чего” — решали промеж себя — „нейтралитет держать”.

Не верили красногвардейцы казакам, казаки боялись суровой расправы, стрельбы в спину.

Из Ростова в эшелонах пришли подкрепления. Там тоже было беспокойно. Рассказывали, что немцы Таганрог уже заняли и к Ростову подходят.

— Он, немец то, — говорил в темноте, сидя на полу открытого товарного вагона, переполненного людьми молодой солдат со свинными желтыми глазами, прикрытыми белыми ресницами и завитыми мочальными волосами — он не таё. Не то, что наш. Ему все ничаво. Сказал — „хальт” и кончено. Ни ты ему что, ни он тебе. Наши и ружья сдают, не стреляют.

Патруль, пришедший из Новочеркаска, остановился на пути и слушал.

— Помирит, может, немец то. — задумчиво проговорил один из патрульных.

— Что-ж. Под немца можно. Лишь бы не Царь.

— А что Царь? — зевая, сказал патрульный.

— Да надоело это все...

И потом долго молчали. Красногвардейцы патруля стояли, как истуканы и не моргая смотрели в переполненный людьми вагон. Оттуда шел теплый прелый людской запах, слышалось сонное сопение и храп. Кудлатый парень сидел и болтал ногами.

— **Что не спишь-то, товарищ? — сказал патрульный.**

— А неспится чего-й-та... Он, немец-то, — сказывают, в касках... **Весь аккуратный. Честь отдают. Этого... как у нас, значит, нету. Порядок...**

— Да... Коли придет, не похвалит, — проговорил, потягиваясь, патрульный.

— На Украине помещикам земли вернули.

— Ишь, чорт...

Опять долго молчали.

— А звонят, как! Стра-ась. Казаки то они верующие, — сказал патрульный.

— Я тоже когда то веровал. — сказал сидящий в вагоне парень. Ну теперя превзошел. Все-это, значит, и Бог, и леригия энта, и попы начальством придумано. Эрунда! Мне учитель один разъяснил. И так это ясно выходит: человек, значит, превзошел от облизьянта.

— Да... Слыхали мы то же... А только у меня, значит, такая дума была. Ну вот он вот значит человек и облизьянт, от которого превзошел он. Ну, а как же? откелева же облизьянт то вышел?

Все замолчали, слышнее стал пасхальный перезвон, прохладная ночь томила своими далекими ликующими звуками и будила забытые, заросшие новыми побегамы мыслей, старые воспоминания. Смутно становилось от них, хотелось забвенья, дикого выкрика, хмельного угара, кровавой потехи.

— Все химия одна, — сказал один из патрульных... Он, **аком-то, его и не видать, а через него, значит, все — и весь мир.**

— И вагон из акома? -- спросил патлатый.

— Кубыть так.

— Да ведь он жалезный.

— А кто его знат. По ученому все одно -- аком... Ну пойтить, что-ль, пошукать, --- не идут ли казаки?.

Мутило душу. Каждая полоска света выбивавшаяся из щели ставня, каждый шум розговен за стенами дома возмущал тем, что не отвечал настроению. И, быть может, никогда не был так силен разлад душевный в красной гвардии, как в эту холодную апрельскую пасхальную ночь.

С утра стали пить. Надо было забыться. Пьяные ватаги красногвардейцев наполнили улицы Новочеркаска и срамною руганью заглушили приветственное „Христос воскресе“. Попрятался обыватель. Печально тянулся солнечный голубонебный весенний день. Все сидели по углам и ждали. Что то должно было совершиться, либо смерть, либо освобождение.

По улицам и площадям валялись пьяные красногвардей-

цы. Неслась похабная частушка, раздавались дикие крики, стреляли из винтовок по пролетавшим гусям.

На рассвете гулко и резко, совсем неожиданно ударила со стороны Кривянской станицы казачья пушка. Засвистал, зашелестел снаряд и „памм“ — звонко разорвался в розовеющем восходящем солнце в воздухе над самым вокзалом с эшелонам.

По грязному займищу за Аксаем показались редкие казачьи цепи.

Заспавшиеся с пьяна красногвардейцы туго просыпались и плохо соображали в чем дело. Послали за казаками 10-го полка, чтобы вышли на разведку, казаки отказались.

С окраины Новочеркасска, со стороны Александро-Грушевска, от предместья, где были бараки пехотной бригады, с так называемого Хотунка прибежали растерянные люди:

— К Хотунку движутся конные и пешие казаки. Заметались комиссары. Кто-то приказал двигать эшелоны на север. Другой требовал отступления на юг, раздавались споры, и навстречу казакам выходили неорганизованные толпы красной гвардии, пытавшиеся вести уличный бой.

Крепче запирали ставни и двери обыватели, с тревогою прислушивались к артиллерийской, ружейной и пулеметной стрельбе, выглядывали опасливо в щелки.

Проскакал по Иорданскому спуску на буром мерине старик-казак с обнаженною шашкою. Сдалась партия ошалевших красногвардейцев. На минуту затихла стрельба — и вдруг радостными ликующими криками, визгами восторга **из горницы в горницу, в коридор, в кладовку, в самый подвал**, где укрылись женщины с детьми, раздались радостные возгласы:

— Казаки в Новочеркасске!

— Не может быть!

— Да говорю же!

— Видал... Сам видал Архипова! Проскакал на буром **коне!**

— Христос воскрес!

— Идут идут... Наши! Гимназисты!

— Я Пепу Карпова видал... Сережа Янов тоже. Заплавские казаки подходят.

— Семилетовские партизаны на Хотунке.

Маленький Денисов шел во главе казаков...

И звучно ударил соборный колокол, и завторили малые колокола, и вышел скрывавшийся где то епископ Аксайский Гермоген, и пошел по Платовскому проспекту высокий, статный, молодцеватый, с красивой седой бородою развевающимся по плечам, в клобуке с мантией.

Казаки подходили к нему под благословение и слышалось радостное:

— Христос воскрес! Христос воскрес!

Воскресал, возрождался и Дон.

### XXXV.

На другой день, 24-го апреля, было жутко. Красная гвардия, никем не преследуемая, оправилась, к ней подошли подкрепления и густыми цепями стала покрываться степь от самого Персианского лагеря. И стало ясно видно, как много озлобленного врага и как мало силы у полковника Денисова. То верхом, то на извозчике носился по городу Денисов, собирая дружины и направляя всех, кого только увидит во дворе или в доме к Троицкой церкви. Там стояли два казачьих орудия и редкими выстрелами отвечали на грохот большевистских батарей.

И чем дальше продолжался бой, чем ближе наступали цепи большевиков, тем яснее становилось, что казакам не удержать Новочеркасска. Не хватит силы. Крайние бараки Хотунка уже были заняты красногвардейцами, они продвигались за реку к скаковому полю и надвигались густыми колоннами с севера вдоль железной дороги. Никто не знал, что в Ростове. Казаки колебались. Денисов поспевал повсюду.

— Держитесь! — кричал он. — Держитесь! Помощь близка.

И сам не знал — откуда помощь. Посылали за нею на юг и на восток, к добровольцам и к отряду Дроздовского,

но никто не знал о их состоянии и не верилось даже, что они есть.

— Держитесь, — говорил он, соскакивая с извозчика и бегом направляясь к отходящим казакам. — Вы куда!

— Мало нас, — хмуро говорили казаки.

— Достаточно! Назад, назад! — За мной.

Снова ложились казаки и отвечали одиночными выстрелами на несмолкаемый треск перестрелки.

Солнце переваливало к западу, еще холоднее становилось в голубом просторе вечера и страшная близилась ночь. С левого фланга донесли:

— Красная гвардия отходит.

Не верили казаки. Но все быстрее и быстрее отходили большевики от Хотунка.

Из за Краснокутской рощи со степи между Новочеркасском и станицей Грушевской грозно рывкнула тяжелая пушка и густое облако черного дыма поднялось возле большевистских цепей.

Кто стрелял? Свои или чужие?...

— Свои, свои! — радостно шептали запекшимися губами усталые казаки.

Откуда то взявшиеся, чудом присланные самим Господом Богом стройные полки шедшего с Румынского фронта отряда Полковника Дроздовского подходили на выручку Новочеркаску.

И, когда надвинулись сумерки, большевиков не было подле Новочеркасска и в город входили походные колонны отлично выправленной, лихой, дисциплинированной молодежи. И казалось, что весь революционный угар, комитеты, комиссары, эксцессы — все было сном. Тяжело и мерно стучали сапоги по каменной мостовой, аккуратно, были надеты скатанные шинели, сурово выглядели сухие загорелые лица и непреклонная, неумолимая воля горела в глазах...

Где то грянула бодрый марш давно неслышанная в Новочеркасске военная музыка.

Новочеркасск был спасен.

На другой день казачья конница полковника Туроверова вошла в Ростов и несколькими часами позже нее туда же прибыли эшелоны с германскими войсками. Германское командование признало факт занятия Ростова казаками и в Ростове стало два коменданта — немецкий и казачий.

В эти Пасхальные весенние дни Добровольческая Армия завершала свой отход от Екатеринодара, перешла границу земли Войска Донского и расположилась на отдых в радушно принявшей ее станице на Дону. Смутные носились слухи, что Дон поголовно восстал, что на Дону избивают комиссаров. От Добровольческой Армии был послан к Новочеркасску разъезд кубанских казаков.

Весенним прохладным вечером, когда голубели степные дали на востоке, а запад с его поднимающимися к Дону холмистыми просторами пылал лучами закатившегося в беспредельность степную солнца, когда вся станица благоухала сиренью, акацией и сквозь аромат цветущих садов меньше был слышен острый волнующий запах жженой соломы, хлеба и возвращающихся стад, когда вся улица станицы Мечетинской полна была отдыхающим народом — одни играли в свайку, другие сидели на рундуках длинными рядами и молчали, мечтая и надеясь, с западного края в улицу станицы въехал разъезд кубанских казаков.

Худое загорелое лицо кубанского офицера было покрыто густым слоем черной пыли, пылью была покрыта и запотевшая, точно попоной укрытая, тупая от усталости лошадь. Блестели радостью глаза офицера, весело звучал его голос и мощный дух побеждал усталое тело. Толпа офицеров обступила его и казаков.

— С Дона?.. Ну что на Дону? — раздавались голоса нетерпеливых взволнованных людей.

— Порядок... — был короткий ответ.

-- А большевики?

— Большевиков нет. В Новочеркасске — Атаманская власть.

-- А в Ростове?

— Немцы.

— Немцы, — повторяли добровольцы... — Немцы. И как же они? С казаками-то?

— Ничего. Работают вместе против большевиков. Все это так не вязалось со всем, что говорили и что слышали, что исповедывали в Добровольческой Армии, как непреложную истину, что некоторое время в толпе добровольцев царило молчание. Ум не мог воспринять той истины, что базой армии становилась Украина, занятая немцами и для борьбы с большевиками являлось необходимым заключить в той, или иной форме соглашение с немцами.

И радость известия об освобождении Дона, радость сознания, что, наконец, является надежда на передышку, на временный отдых, была отравлена недоумением, как отнестись к тому факту, что в эти страдные дни существования России и ее армии руку помощи Русским людям протянули не их союзники, а их враги — немцы.

### XXXVI.

История борьбы России за свободу на Юге — может быть разделена на три периода.

Первый, — когда неорганизованные, без тыла и фронта отряды офицеров и юношей скитались с генералом Корниловым по Кубанскому краю и с генералом Поповым по Задонью, когда главной целью была не борьба с большевиками, а сохранение кадров армии, сохранение ее офицерского состава для будущего. Так хозяин сберегает лучшие семена для нового урожая и боится растратить их. Корнилов скитался по закубанскому краю, пока судьба не вовлекла его в осаду Екатеринодара, окончившуюся смертью его и тяжелым отходом из закубанья в задонский край. Попов, удачно маневрируя от противника, по богатым помещичьим зимовникам, сохранил свой маленький отряд и привел его на Дон. Первый период, начавшийся в феврале 1918 года уходом генерала Корнилова из Ростова и Попова из Новочеркасска, почти в один день — закончился в конце апреля — возвра-

щением Попова в Новочеркасск и устройством Добровольческой Армии на Дону.

Второй период был тот, когда у противобольшевистских сил явилась база. Этою базой стала Украина, занятая немцами. В распоряжении Донского Правительства и командования Добровольческой Армии оказались богатейшие военные склады Юго-Западного и отчасти Румынского фронтов, патронные и снарядные заводы, суконные фабрики и спокойный край, вернувшийся к нормальной жизни. Эта база влияла не только в материальном отношении на операции против большевиков, но она оказала громадное моральное воздействие на казаков. Вид отлично одетых и дисциплинированных германских войск вернул казакам желание быть не хуже их. Круг спасения Дона, состоявший более чем на три четверти из простых казаков-земледельцев, разговорами занимался мало. Он вручил судьбы Родного края Атаману и разъехался, не вдаваясь в критику. Атаман постановил: возврат к старому дореволюционному порядку, — и прежде всего начал создавать Армию по старой организации и на началах старой дисциплины. В эту пору у противобольшевистских сил на юге России была прочная база — Украина, были точно обозначившиеся операционные направления: — на Воронеж и Царицын и постепенно появлялась правильно организованная, чуждая духу партизанства и добровольчества донская армия, действовавшая по указаниям военной науки. Этот период был наиболее блестящим в истории борьбы на юге и заставил и красное командование встревожиться и изменить многим своим принципам. Период этот продолжался с мая по декабрь 1918 года.

В декабре 1918 года появились на юге России давно жданные союзники и началась союзническая помощь. Это был третий период борьбы. Союзники не сменили германские гарнизоны на Украине и не поддержали спокойствие в этом громадном крае. База была выдернута из под армий, оперировавших на юге России. Все пришлось создавать снова уже во время широко развившихся по всему фронту операций и боев. Операционные направления расползлись по

всей России и малыми силами Добровольческая армия стремилась охватить и забрать и Украину, и Великороссию, и Кавказ, и Крым. С потерей Украины все довольствие войск и снабжение их легло на союзников и на жителей, что создало громадный тыл и повлекло к гибели всего противобольшевистского дела. Развивая операции в крупном масштабе Добровольческая армия не могла отрешиться от духа партизанства и добровольчества, которым она была проникнута. Она не учла того, что противник ее вернулся к старым принципам военного искусства и хотела победить его „новой тактикой и новой стратегией”, выработанными в боях с Сорокиным и Автономовым, Думенко, Жлобой и другими кустарями военного дела и совершенно не пригодной для борьбы с Клембовским, Сытиным, Гутором, Незнамовым, Свечинным и другими профессорами Императорской военной Академии. Этот период был самым кровопролитным и тянулся с января 1919 года по март 1920 года.

В первый период борьбы большевистское командование, во главе которого стояли дилетанты — Троцкий, Крыленко, матрос Дыбенко, вахмистр Думенко, солдаты Ворошилов и Минин кое как справлялось, благодаря своей многочисленности с действовавшими против них „белогвардейскими бандами”. Дружины Сойкина, смелые партизаны Чернецова, отряд Белого дьявола, даже Корниловская „армия” — без бр-зы, без оружия и без патронов мало пугали народных миссаров и в основу борьбы они клали агитацию, не нарушая народного демократического характера своих армий с выборными начальниками из случайных людей или просто из жестоких и храбрых солдат Императорской Армии.

Во второй период гражданской войны, когда на Дону стал работать правильно организованный штаб и когда **постепенно, железною волею генерала Денисова, станичные** дружины стали заменяться полками, орудия были отобраны от владевших ими станиц, считавших их своею военною добычею, были созданы батареи и управление артиллерией, когда вместо отрядов явились фронты и вместо случайных полувывборных вождей, офицеров, захвативших в свои руки

командование, стали опытные боевые генералы, когда операции под Воронежем и Царицыным, приняли планомерный характер — Троцкий учел, что социалистическая армия, построенная на милиционных началах не годится и что придется признать, что существует военная наука и обратиться к специалистам.

Троцкий не задумался над тем, чтобы самому изучить военное дело. Он пригласил к себе профессоров Академии и сел за книгу. Это не было методичное изучение военного дела, — это было лишь нахватывание научных верхов. Троцкий начинал себя квинт эссенцией военной премудрости, ловил афоризмы и аксиомы великих полководцев. Те, кого он со школьной скамьи презирал: — Александр Македонский, Юлий Цезарь, Мориц Саксонский, Валленштейн и Густав Адольф, Фридрих и Петр Великий, Румянцев и Суворов, Наполеон и Скобелев, — все имперьялисты и императоры, открывали ему в коротких чеканных фразах секрет победы. В большом черепе, прикрытом вьющимися волосами прочно укладывались принципы „науки побеждать“.

Троцкому сказали, что организация не терпит импровизации — и на пятом всероссийском съезде Советов Троцкий, летом 1918 года, выступил со смелыми, горячими словами:

— „Мы не сомневаемся“, — говорил он, — „что для „красной армии эпизоды подавления восстания левых социалистов-революционеров в Ярославле и изгнание красноармейцами чехо-словаков из Сызрани послужат уроком для „укрепления дисциплины. Красная Армия, построенная на „науке, она нам нужна. Партизанские отряды — это кустарнические, то есть ребяческие отряды; Это для всех ясно. „Нам необходимо упрочить дисциплину, при которой такого „рода авантюры стали бы невозможны, этот опыт даст возможность всякому солдату понять и всякий солдат это поймет, что кровопролитие и братоубийство возможны при „отсутствии дисциплины. Красная армия есть вооруженный „орган советской власти, она служит не себе, не тому, или „другому кружку, а служит рабоче-крестьянским целям“.

Самостоятельно действовавшие отряды стали расформировываться и на их место появлялись полки, дивизии и армии.

Троцкий узнал, что — воля одного лица может передаваться не больше, как пяти лицам, а вследствие этого неизбежно нужна военная иерархия и армия не может быть демократична, потому что она аристократична по самому своему существу, так как стадо львов, руководимое бараном, слабее стада баранов, руководимого львом. Троцкий стал искать этих львов среди генералов и офицеров Императорской Армии и не стеснялся выдвигать солдат, отличавшихся военным глазомером и смелостью операций. Он призвал Брусилова и Клембовского, он стал заискивать в Поливанове и он же возвеличил вахмистра Буденного...

Он узнал, что *les gros bataillons ont toujours raison\**) — и на смену полудобровольческим полкам он приступил к мобилизациям, наборам и военному обучению молодежи. Он создал „всевоенобуч“, на который возлагал большие надежды.

Ему сказали, что в обороне погибель, а потому всегда атакуй, что недорубленный лес вырастает скоро, что *sans une cavalerie experimentee et suffisante les armées marchent en aveugle et sont compromises\**) — и он испытал это на своей шкуре три раза подряд. В районе Богучара, Бутурлиновки и Новохоперска его большие части захватил всегда вступавший смелый генерал Гусельщиков с Гундоровским казачьим полком. На глазах Троцкого недорубленная армия Корнилова выросла в громадную Добровольческую армию Деникина, а конница Мамонтова,

\*) — Большие силы всегда себя оправдают.

\*) — Без достаточной и искусной кавалерии армии бродят в слепую и могут быть рассеяны.

Фицхелаурова, Секретова, Врангеля и Улагая не давали ему возможности оправиться у Царицына, Камышина и Балашова.

И Троцкий задумал создать так недостававшую ему красную кавалерию.

Троцкому стали нужны специалисты военного дела. Он стал искать их между генералов, томившихся в заточении по тюрьмам и крепостям, укрывавшихся под чужими фамилиями, голодавших, нищенствовавших, продававших газеты и спички на улицах. Он стал вызывать их, суля сытую и хорошую жизнь, беря семьи заложниками, обещая власть и славу, грозя расстрелом, и пытками и многих соблазнил и привлек на службу под красными знаменами Р. С. Ф. С. Р.

В дни поисков „спецов” кавалерийского дела вспомнили о генерале Саблине.

### XXXVII.

Первое время Саблин ожидал смерти каждый час. Он **прислушивался ночью к шагам в коридоре и молил Бога** лишь об одном, чтобы Он дал ему силы смело встретить смерть. По ночам, при малейшем шуме, он вставал, прогонял сон и ходил взад и вперед по камере. Маленькое окошко **за решеткой скупо обозначалось в стене. Шум утихал и ни** один звук не приходил в камеру из внешнего мира. Саблин томился до утра. Ему чудились выстрелы, стук автомобиля, крики — минуты казались часами. Наступал рассвет, гасло электричество, голубоватый свет лился в окно, холод сковывал члены усталого, разбитого тела. За Саблиным не приходили, он оставался жить. Так проходили дни, недели.

Саблин думал о том, что он сидит в той самой камере, где томилась прежние узники Петропавловской крепости. Он испытывал то, что испытывали смертники, о которых он иногда читал в книгах. Когда то, — и как будто не так давно, он смотрел на эту самую крепость из окна дворцового зала и ему грезились призраки, выходящие из крепости. Когда то он ходил с Марусей по набережной против крепости

и Маруся возмущалась и жалела тех, кто сидит в казематах. Саблин вспоминал то, что он читал и что рассказывала ему Маруся о последних часах, приговоренных к смерти. Как это не походило на то, что делали теперь с Саблиным. Тогда был суд и приговор, торжественно объявленный. Преступник знал, что его казнят. Он мог надеяться на помилование, но эта надежда была ничтожна. Теперь не было, ни суда, ни приговора и Саблин только подозревал, что он обречен на смерть. Тогда обреченный пользовался известным комфортом. Его хорошо кормили, ему давали книги для чтения, ему давали Евангелие. Перед смертью к нему являлся священник и вешали его после целого ряда установленных формальностей, вероятно страшно тяжелых для осужденного. Но было в обряде смертной казни и нечто от христианской любви, что, может быть, смягчало суровость казни. Все, начиная с тюремных сторожей и кончая палачом, — священник, прокурор, офицер караула были ласковы со смертником. Они отправляли осужденного на тот свет без злобы и ненависти, по своему долгу. Часовые стояли у дверей камеры молча и не оскорбляли и не отравляли последних минут заключенного. Смертник должен был чувствовать, что эти люди против него ничего не имеют, его осудил закон, его осудил и может помиловать только Государь. Все бремя власти лежало на Государе, и, может быть, из этих сложных переживаний смертников, запротоколированных литературой, выросла в известных слоях Русского общества ненависть к Монарху и царской власти.

В камере осужденного была тишина. В определенные часы ему подавали пищу, в определенные дни его выслушивал прокурор, к нему заходил священник. К нему допускались родные и близкие. Было ужасное одиночное заключение, от которого сходили с ума, но не было того, что испытывал Саблин.

Он не знал, находится он в одиночном заключении, или просто живет в крепости. Все зависело от караула, от солдат. Вдруг днем распахивалась камера и в нее врвались солдаты караула. Они грубо ругались и оскорбляли Саблина.

— А, буржуй проклятый? Не теряешь буржуйского вида, сволочь, стой, мы тебя прикончим, — кричали они.

Они щелкали затворами ружей и прицеливались в Саблина, они делали нечистоты в камере и шумной ватагой исchezали. Жаловаться было некому и бесполезно.

А на другой день — двери камер отворялись и все заключенные сходились, знакомились друг с другом и ходили, свободно разговаривая и ругая советскую власть. И солдаты караула ругали ее тоже.

С Саблиным в одном доме сидели: старый генерал-адъютант, от всего пережитого впавший в детство и мечтавший писать свои мемуары и маленький суетливый член Государственной Думы, уверенный, что его выпустят.

— Главное, господа, — говорил он, — сохранить себя в этих условиях. Для этого нужен физический труд.

Член Думы топил печи во всем флигеле, подметал полы и коридоры и исполнял трудную работу. Он был стар и почти падал от утомления.

„Это ничего”, говорил он. „Это плоть, а дух мой силен и я еще могу полным плевком плюнуть насильникам и жидам в самую их поганую харю”.

Жила в камерах больная фрейлина Императрицы, целыми часами стоявшая на коленях в углу за молитвой и не выходившая из камеры даже тогда, когда двери отпирались.

Известий снаружи было мало. Знали то, что говорил караул. Солдаты рассказывали о войне на внутреннем фронте, о победах над Колчаком, над донскими казаками и над Деникиным. Но, судя по тому, что места побед приближались к Москве, надо было думать, что победы были не важные. Но больше говорили о пайке, о фунтах хлеба, о спекуляции, о сапогах и шинелях.

А на следующий день свобода кончалась. Новый караул был необычайно строг, грозил расстрелами, стучал винтовками и в доме заключенных царил мертвая тишина.

Кормили очень плохо. Иногда ничего не давали, иногда ~~привносили дурно пахнущую серую, мутную похлебку~~ и желтый чуть теплый напиток, носящий название чая.

От такой пищи тело таяло. Земные помыслы исчезли, желания пропадали. Первые дни Саблин от голода думал о еде, вспоминал те роскошные обеды, которые бывали в собрании и у него дома, стол, уставленный водками и закусками, громадные пироги с сигом и вязигою, различные супы и мяса, потом это отпало. Его радовало, что духом он не падал, что душа его укреплялась в сознании своего бессмертия и предстоящая смерть его не пугала.

Очень часто, по ночам, Саблин слышал шум грузового автомобиля. Корridor наполнялся людьми, вспыхивали лампы, слышна была брань, мольбы и стоны. Раздавались крики отчаяния, кого то приводили, кого то уводили, стучала машина и казалось, или то было действительно так, сквозь стук машины слышались короткие резкие звуки выстрелов.

На другой день сторож-солдат, внося хлеб и кружку с водой, говорил сокрушенно: — „вчера еще двадцать семь человек в расход вывели“.

Однажды ночью, в камеру Саблина втолкнули босого человека в одном нижнем белье.

— Побудь тут, покеля! — сказал втолкнувший его солдат.

Попавший в камеру Саблина был юноша с бледным интеллигентным лицом и большими глазами. Он дрожал всем телом. В камере было сыро и холодно, а на нем кроме белья не было ничего. Саблин накинул на него свою шинель и обнял его, чтобы согреть и успокоить.

Эта неожиданная ласка окончательно расстроила молодого человека и он разрыдался.

— Спасите меня! Спасите!.., — говорил он, сжимая руки Саблина. — Ведь меня убьют!... Я знаю... знаю. Меня взяли **за то, что я хотел уйти от них. Меня обвинили в дезертирстве... Спасите меня... Мама, если узнает, с ума сойдет...** Я... — он назвал одну из громких аристократических фамилий. — Моя мама в Крыму, она ждет меня... Спасите меня... Я все, все сделаю, но только жить... Вы понимаете, я готов

им поклониться... Ах только бы жить, жить... У меня есть невеста. Спасите меня...

Дверь камеры открылась и солдат назвал фамилию молодого человека.

Тот прижался к Саблину.

— Ну живо ты! Некогда нам с вами возиться. Пошел к стенке, — крикнул солдат.

И вдруг молодой человек встал и покорно, неловко ступая босыми ногами по каменному полу, пошел на зов солдата. Было что-то такое ужасное в этом движении молодого тела в белом белье, в его потухших глазах, в покорности окрику, что-то такое жалко животное, что Саблин навсегда запомнил его и все ему грезился этот одетый в белое юноша с наклоненной головою, выходящий из камеры.

### XXXVIII.

С осени 1918 года очень часто при камере дежурил бритый человек с умными вдумчивыми глазами. Сухое лицо его с большим лбом было нервно. Глаза проникали в душу и было у него два состояния. Одно, когда он сидел часами в углу, молчал и тихо стонал, другое, когда он возбужденно говорил, рассказывал, вспоминал что-то, махал руками. Он заходил к Саблину в камеру и часами сидел у него в углу на табурете, то молча, то разговаривая с Саблиным.

Их знакомство началось при обходе камер. Саблину в этот день удалось добиться разрешения побриться и постричься и он, чисто вымытый, сидел на койке и думал свои думы.

Дежурный вошел в камеру в сопровождении часового, посмотрел на Саблина и сказал:

-- Какой типичный буржуй.

— И вышел.

Через полчаса он вошел снова и сел против Саблина на табурете. Он сидел спиной к верхнему окну, Саблин лицом к нему

-- Вы не обиделись? — сказал он.

Саблин молчал.

— Мне ли не отвечаете? Я комиссар и член чрезвычайной комиссии по борьбе с контр-революцией!.. А впрочем: все равно. Я ведь такой же буржуй, как и вы. Обратил я внимание на вас потому, что вот и издеваются над вами товарищи солдаты и обречены вы, вероятно, на смерть, и не кормят вас, и вши вас едят, а вы все барин. Баринoм родились — баринoм, поди, и умрете. А они, — хоть и сверх-человеки, а хамы. Вы молчите?.. Ну, молчите, молчите. Я понимаю, что вам противно со мною говорить. Вдвойне противно, потому что я образованный человек. Доктор философии. Но, может быть, вы поймете меня. Я идейный коммунист. Я уверовал в них. Правда. Знаете, я юрист по профессии, был прокурором и вопросом о смертной казни специально занимался. Нравственно, или безнравственно? Допустимо, или недопустимо, и если да, то как? Ну, сначала пришел к тому заключению, что, конечно, недопустимо. И волновался и шумел. Помните Андреева — „Семь повешенных” — благородная тема! Неправда-ли! Ну, только, потом, прочел я его же „Губернатора”. И задумался. Выходит дело такое: — война. Ежели их не повесят, то они его ухлопают. Как же теперь говорить об отмене смертной казни? А тут подвернулась война и все прочее и у власти оказался Владимир Ильич. Я с ним когда то газету его издавал, приятели. Заявился к нему, был принят. Ведь это, я скажу вам, — ум! Планетарный ум. Гений. Что ни слово, то откровение. А меня, признаться сказать, вопрос этот мучил — о смертной казни. Как же, мол, так: — свобода и все прочее, неприкосновенность личности и вдруг смертная казнь. Я к нему. Он принял меня, выслушал с полным вниманием и говорит: — „да ведь, товарищ, по существу — смертной казни нет”. Как нет! А расстрелы, а пытки? — А он, знаете, улыбнулся своею веселою улыбкой и говорит: „вы ничего не понимаете. Смертная казнь, — это обряд. Это пытка, это мука! Суд, прокурор, — священник, палач, да вон еще, говорят, прежде в красную рубаху палача наряжали и красный колпак одевали, — это уже инквизицией пахнет. Этого нет. Но, понимаете вы, что некоторые люди

вам не нужны и их нужно удалить. Ознакомьтесь с нашими порядками и вы поймете, что смертная казнь отменена". Я получил назначение в чрезвычайную комиссию. Положение, понимаете ли вы! То я по коммунистическим столовым шатался, суп из воблы жрал и хлеб из картофельной шелухи топал, а тут: — кухарочка у меня из аристократок оказалась, вино на столе, белый хлеб, вчера мороженое кушал. Жена, дети довольны.

Он замолчал. Оживление его как то пропало. Он заявил и бледным голосом договорил:

— Вы меня слушаете и думаете, что я провоцировать вас собираюсь. Что же, вы правы. У нас все на доносах. Я ведь по душе то, может быть, первый раз говорю. Потому что и дома: — мороженое ешь, вечером в картишки играешь, а ни жене, ни сыну, ни гу-гу про свои мысли: выдадут. Вот положение то какво! Не знаю поймете-ли?

Он вышел, но минут через пять вошел снова и опять был возбужденный и оживленный.

Тянет меня к вам. Вот, посмотрел в ваши большие серые глаза, и понял, что вы настоящий буржуй. Вы не выдадите меня, не предадите за кусок воблы, или за ласковое слово комиссара. А то, вот и аристократочка у меня кухаркой служит, и руки готова целовать и все такое, — знаете, надрыв в ней истерический. Пять красноармейцев ее изнасиловали, так с того пошло. Мущинами грезит... Предать готова за лишнюю ласку. А накопилось у меня много. Я знаю — вы выгнать меня хотите, да не смеете.

— Я не смею выгнать вас, а не могу, --- сказал Саблин. Вы все равно меня не послушаетесь.

Ну, может быть, я то и послушался бы. Я человек деликатный, сказал комиссар.

Тема, которую вы затронули, меня интересует. Да и всегда интересовала, --- сказал Саблин.

— О смертной то казни! Ну, еще бы! Так вот, я в чрезвычайке, это дело понял. Видите вы... Бывали вы когда либо на скотобойне? Ужасное, знаете, зрелище, а никого не возмущает. Иные кисейные барышни даже ездят и кровь

горячую пьют, от анемии, дескать, помогает. Быкобойца считается порядочным человеком и всякий ему руку подает. Да, говорят, трудное ремесло, но необходимое. И уже он, конечно, не палач. Ну еще бы — бифштексы, да ростбифы, да филеи разные это чегонибудь да стоит. Так вот Владимир Ильич и указали, чтобы также значит и с людьми. Антимонии этой разводить, нечего. Если хотите, тут немного и от Талмуда есть. Еврей, ведь гоя за человека не считает, а за животное. Владимир Ильич и указали нам, чрезвычайкам то, что всю эту буржуазную канитель: приговор, прокурора, священника, палача — все это оставить надо. Просто --- вывести в расход. Уничтожить, чтобы не было. И конец. У некоторых, — ведь во всяком деле Русский человек совершенствоваться и услужить желает, --- явилась такая мысль! Трупы утилизировать, чтобы и от них филе, да бифштексы выкроить. И, знаете, китайцы оказались мастера этого дела. А я, понимаете, ходил с научною целью... Да, представьте себе, гараж автомобилей на Гороховой. Пол бетонный, а в углу вдоль стенки жолоб проделан. Приговор вынесен. Тридцать человек в расход. Есть мужчины и женщины. Ночью приводят их в гараж. Полутьма. Две лампочки, уже перегоревшие тускло горят, проволоку видно. Красноармейцы их раздевают до гола. Одежда и белье теперь цену имеют — все равно, как шкура быка. Они стоят голые, дрожат и уже многие о смерти не думают, а так, холодно им и стыдно. Другие плачут, на коленях ползают, руки целуют. И приходит чекист. Есть любители. Ну, конечно, под наркозом. Кокаин, либо эфир. Глаза горят, ноздри раздуты. Весь в коже. Черная кожаная фуражка комиссарка на нем с большою красною звездою, шведская куртка — это ведь самый модный нынче костюм, — сам Троцкий его носит, кожаные штаны и высокие сапоги. Револьвер, этакий большой, сбоку, не то восемь, не то десять зарядов в нем. Вид самодовольный, наглый.

— Станови буржуев к стенке! кричит, которые желают лицом, а кто спиной — мне безразлично.

И вот у стенки выстраивается ряд дрожащих голых тел. Да... Видали вы картины Штука... Или вот наши де-

каденты — мазилки пишут. Боже! до чего безобразно человеческое тело! Большие вздутые животы, тонкие ноги, длинные руки, и все это грязное, немытое, пахнет нехорошо. Чекист кожаный подходит и кому в висок, кому в затылок, быстро так... Ну совсем скотская бойня.

Расскащик замолчал и опять вышел.

- Вы простите меня, сказал он, возвращаясь, но я без **кокаина** даже **рассказывать не могу**. **Впрыснул еще**. Я ведь тогда до конца оставался. Новые методы изучал. И, знаете, наглость и ум у Владимира Ильича изумительные. Тогда, когда была гильотина и палачи, когда была виселица и **растрел — были герои**. И **Людовик XVI** и **Мария Антуанетта** были герои, и героями стали Рысаков и Желябов и герой лейтенант Шмидт. — их тела отыскивают, чувствуют, гражданские панихиды поют, а тут не герои революции, или контр революции, а просто убойный скот. Я думаю, в пять минут всех тридцать покончил. — вот тогда пришли китайцы и стали разделявать тела убитых. Вот совершенно так, как мясник тушу разделявает. Обрубили головы, руки и ноги, выпотрошили животы, все это в железные ящики положили, потом стали рубить на куски. Я смотрел. Куски мяса и не узнаешь что. В Зоологический сад повезли. Зверей кормить. Ловко? Вы подумайте: — полное уничтожение личности. Царское правительство повесило Каляева, или расстреляло Шмидта — а они остались в памяти, а тут кого, сколько. ну-ка узнай!?

- Выхожу я. Утро, знаете, такое бледное, летнее Петербургское. Я, ведь, Петербуржец сам. Люблю эту недоговоренность белых ночей и небо бледное за шпилем Адмиралтейства и сырой холодок с запахом царственной Невы. Ведь много эпитета, как царственная, хотя оно и контр революционно, **не придумаешь**. **Да, выхожу я из ворот, а на панели женщины, пять, или шесть, старые и молодые. Ко мне. Хватют за руки, на колени кидаются. — „Господин комиссар“! — кричат, — „мы знаем, что кончено. Дайте тело! Тело дайте похоронить! Я мать! Я жена... Я сестра... Я дочь“... Да... ужасно знаете. Владимир Ильич обмозговал это все хорошо,**

Ну, возьми-ка тело героя, из желудка какой либо пантеры или полосатой гиены? Вот, видите вы теперь, разницу между христианской императорской системой и нашей коммунистической.

— Потом... Рассказывали мне, что в дни голода китайцы на Сенной, людям продавали это мясо.

— Вы знаете, я теперь никакого мяса не ем. Видеть не могу. Увижу — тошнит. Запах ужасный. Но, как систему, — не могу не приветствовать. Полное отсутствие личности. Скот, а не люди... Вы простите меня, что, может быть, замучил вас, но душу отвел. Дома и то боюсь говорить. Сын у меня, — Аркашкой звать, пятнадцати лет мальчишка. двоюродного брата, кадета, чрезвычайке выдал, что он скрывается у тетки, за коробку старых леденцов Ландрина. Да... я думаю и меня он, не стесняясь, предаст. Он ведь растет в этих новых понятиях, что люди скот... Все ждет, мерзавец, когда крематорий кончат строить. Хочет в стекло посмотреть, как сгорает покойник. — „Я ведь”, — говорит, — „папа, знаю, что ничего нет, ни Бога, ни души, это прежнее правительство выдумало, чтобы держать в темноте народ”. А? каков поросенок! Он и отца предаст, не задумается. Современное поколение. Ленина обожает. Вы простите, что я перед вами — но вижу вы старого закала человек. Настоящий барин. Не выдадите, что я думаю. А то у меня слишком накалилось. Хотелось хоть рассказать!

### XXXIX.

Комиссар, от поры до времени навещавший Саблина, солдаты и красногвардейцы, старик генерал-адъютант и другие лица, заключенные в одном доме вместе с Саблиным порою казались Саблину не живыми людьми, но порождениями какого-то сна. Жизнь не допускала ни таких явлений, ни даже таких рассказов. Пропитанный кокаином, с издерганными нервами комиссар не был нормален. Он жил только в грезах, но грезы его были страшными и кровавыми. Он при-

носил Саблину газеты. Но тяжело было читать безграмотные завывания „Известий” и „Красной газеты”, Саблин просил книг и евангелия, но комиссар покачал головою и сказал: — „не могу-с. Понимаете, за это самого могут к стенке. Мой начальник Дзержинский сказал: — ””вместе с буржуазией отжили свой век тюрьмы. Пролетариату не нужно четырех стен. Он справится при помощи одной”. Но в вашей судьбе кажется скоро будет перемена к лучшему”.

И действительно: с зимы Саблину улучшили стол, стали давать много хлеба, настоящий мясной суп и раз в неделю допускали к нему парикмахера. Ему выдали чистое белье, матрац и одеяло и, наконец, прислали неизвестно от кого большую связку книг. Книги были военного содержания. Тактика Бонч-Бруевича, Военная Администрация и уставы. В тактике был вложен большой пакет. Надписи на нем не было, но, видимо, кто то заботился о Саблине со стороны. В пакете была пачка денег и письмо... от Тани. Письмо было старое. Пакет долго валялся где-либо по сумкам, он был покрыт пятнами жира и сырости и надпись карандашом на нем стерлась. Саблин не мог ее разобрать. Саблин вскрыл пакет и достал из него большую пачку листов, исписанных тонким широким почерком его любимой дочери. Наверху первой страницы был нарисован чернилами восьмиконечный крест и написано:

„Господу Богу угодно было, в неисповедимых путях своих, прервать жизнь Святых Царственных Страдальцев в ночь на 4 июля 1918 года”...

„Не знаю, милый папа, как я опишу тебе все то, что случилось. Мы ожидали этого. Но мы не знали, что это будет так ужасно.

„Несколько раз хотела продолжать писать тебе письмо и не было сил. Слезы застилали глаза и карандаш валился из рук. Начала еще в Екатеринбурге, кончаю в Москве, потому что видала Пестрецова, он рассказал мне про тебя и обещал доставить письмо. Он обещал тебя освободить.

„Папа! Пестрецов не хороший человек. Он служит у тех, кто убил их. Кто уничтожил Россию.

„13 апреля Государя, Государыню и Марию Николаевну увезли из Тобольска. Мне рассказывали, что император Вильгельм потребовал через своего посланника в Москве, Мирбаха, чтобы Государя и Его семью отвезли в Москву, или Петербург, он хотел их спасти. Московские комиссары решили убить Государя.

„Янкель Свердлов, председатель всероссийского центрального комитета в Москве, играл двойную роль. Он сделал вид, что уступил требованиям Мирбаха, а сам вошел в сношения с уральским Совдепом, заседавшим в Екатеринбурге и непримиримо настроенным к Царской Семье, и решил предать государя в его руки.

„Папа! не первый раз жиду заниматься предательством. Янкель Свердлов предал Государя на казнь... Пусть запомнит это история!

„А Русские люди? Русские люди молчали, или кричали: „Распни его!“

„Свердлов командировал в Тобольск комиссара Яковлева с секретными инструкциями.

„Комиссар Яковлев явился к Государю 12-го апреля, в 2½ часа дня, и пожелал говорить с Государем наедине. Камердинер Волков доложил об этом Государю. С Государем вышла к Яковлеву Императрица и сказала, что она будет присутствовать при разговоре. Яковлев сказал, что он получил приказание доставить Государя в Москву. Когда Яковлев ушел, Государь сказал, что он имеет подозрение, что его хотят везти в Москву, чтобы заставить подписать брестский мир.

— „Это измена России и союзникам!“ — сказал он. — „Пусть лучше мне отрубят правую руку, но я не сделаю этого!“

„Императрица была в отчаянии. Наследник был тяжело болен, его нельзя было оставить одного и Императрица металась по комнатам, не находя себе покоя. Она ломала руки и рыдала. Она прошла в комнату великих княжен. Там был Жильяр и великие княжны Татьяна и Ольга Николаевны. Обе сидели с опухшими от слез лицами.

— „Они хотят отделить его от семьи”, — сказала, рыдая Императрица, — „чтобы попробовать заставить его подписать гадкую вещь под страхом опасности для жизни всех своих, которых он оставил в Тобольске, как это было во время отречения во Пскове!”

Саблин отложил письмо в сторону и поднял глаза. „Боже”, подумал он, — „до чего подлы люди. Все... И чем Родзянко, Рузский и Алексеев лучше этого Яковлева? Там, в страшный день 2-го марта, они так же грозили Государю смертью его семьи, несчастиями России и Армии, вымогая у него отречение от Престола... Где же благородство, где же честь? — и что такое большевики, как не фотография тех, кто их породил!”

Несколько минут он сидел неподвижно. Голова устала от чтения, мысль привыкла носиться по своей воле, наполняя время странными, удивительными грезами. Саблин вздохнул и снова взялся за письмо:

„Папа! О себе она не думала. Она думала только о России, о ее чести и существовании. У ней не было и мысли сохранить себе жизнь и спастись за границу ценою интересов Русского народа и чести России.

— „Лучше я буду прачкой! — воскликнула она, обводя всех блестящими от слез глазами — „лучше приму смерть, нежели подчинюсь интересам Вильгельма”.

„В ней боролись чувства матери и чувства Царицы. Наследника нельзя было оставить одного, но долг Императрицы требовал от нее быть в трудные минуты при Государе.

— «Яковлев уверяет меня», — сказала она Жильяру, — «что с императором не случится ничего дурного и что, если кто хочет сопровождать его, — он не будет препятствовать. Я не могу допустить, чтобы император уехал один. Опять его хотят отделить от семьи, как тогда... Хотят вынудить его на неправильный шаг, угрожая жизни близких... Император им необходим: они понимают, что он один представляет Россию... Вдвоем нам будет легче бороться и я должна быть около него при этом испытании... Но наследник еще так плох! А если вдруг случится осложнение?»

Господи, как все это мучительно! Первый раз за всю мою жизнь я положительно не знаю, что делать. Раньше, когда мне приходилось принимать какое-либо решение, я всегда чувствовала вдохновение, а теперь я не чувствую ничего! Но Бог не допустит этого отъезда; отъезд не может, не должен состояться! Я уверена, что сегодня ночью тронется лед!"

«Татьяна Николаевна сказала: — «Но, мама, надо же что-нибудь решить на случай, если папа все же придется уехать». . .

«Императрица все ходила по комнате, говорила сама с собою, строила разные предположения. Наконец она решилась.

— „Да”, сказала она, — так будет лучше: еду с императором. Алексея я вверяю вам» . . .

«Императрица победила мать. Она решила пожертвовать собою, но не допустить хотя бы невольной измены России и союзникам.

«Папа, а французы и англичане обвиняли ее в том что она хотела заключить сепаратный мир! Бьюкенэн — дававший золото, чтобы свергнуть Императора, Тома, говоривший льстивые речи толпе бунтовщиков, на ваших головах невинная кровь святой царицы! История не простит этого ни Англии, ни Франции!

«Государь был на прогулке. В душе Императрицы бушевала в это время буря. Семья, Наследник, или честь Родины, честь России! Ты знаешь, папа, что для нее была ее семья и особенно Наследник! Ведь вся история Распутина была лишь потому, что она испытывала глубокий мистический страх потерять мужа и сына и это заставляло ее видеть в „старце” чудо спасения от зол. Это — суеверие, основанное на страхе! И как же виноваты те, кто не рассеивал, а укреплял это суеверие! Ах, папа! Она так была несчастна в эти часы! Да и всю свою жизнь видела-ли она, хотя луч счастья? Россия, или семья? Верность союзникам, честь своего слова, или своя и своей семьи жизнь?

«Государь вернулся с прогулки. Государыня пошла к нему навстречу.

— „Решено, я еду с тобой”, — сказала она. „И с нами поедет Мария».

— «Хорошо, если ты этого непременно хочешь», — сказал Государь.

13 апреля в 4 часа ночи, еще в полной темноте к их дому были поданы простые сибирские плетенки. Одна была запряжена тройкой, другая парами. В них не было даже сидений. Принесли сена, в повозку, предназначенную для императрицы, положили матрас. Императрица села с великой княжной Марией Николаевной, Государь поехал с Яковлевым. С ними поехали кн. Долгоруков, Боткин, Чемодуров, Иван Седнев и Демидова.

Наследник и три великие княжны остались одни.

Дорога была тяжелая. Стояла весенняя распутица. Местами грязь была так велика, что лошади не могли везти и Государь и Императрица шли пешком. Яковлев все время боялся, что местные большевики не пропустят Государя.

Папа! И никого, никого не нашлось, кто бы в эти дни спас и спрятал Государя. Где же Россия! Где же Русские люди!! Я гналась за ними. Тратя последние деньги, я мчалась по их следам, останавливаясь на тех же ночлегах, где ночевали и они.

15-го апреля вдали показались ровные ряды огней. Весенний вечер догорал. Впереди была станция Тюмень. Там ждал поезд. Папа! этот поезд метался взд и вперед. Он пошел на восток, потом повернул назад на Тюмень, потом пошел к Омску. В Омске Яковлев вел какие-то переговоры с Москвой и повез Государя в Екатеринбург. Москва приговорила Государя к смерти.

10 мая туда же привезли и остальных детей. Царская семья соединилась вместе, для того, чтобы больше не разлучаться.

В Екатеринбурге Государя поместили в доме Ипатьева. Это небольшой каменный дом в два этажа. Нижний этаж подвальный и окна с решетками. Государь с Императрицей и августейшая семья помещались в верхнем этаже. Одну комнату занимали великие княжны, две Государь с Императрицей

и Наследником, кроме того у них была общая столовая. В зале помещались Боткин и Чемодуров, в одной небольшой комнате Демидова и в крайней комнате и кухне лакеи Леонид Седнев, Харитонов и Трупп. Последнюю комнату тут же, в квартире Царской Семьи занимали комиссар Авдеев, его помощник и несколько рабочих. Команда охраны из местных Екатеринбургских рабочих помещалась внизу. Это были люди грубые, вечно пьяные и натравленные на Государя. Они делали все, чтобы сделать жизнь Государя и великих княжен невозможной. Днем и ночью они наполняли комнаты Царской Семьи, пели циничные песни, курили плевали куда попало, и грубо ругались в присутствии Государя и детей.

Государь обедал, по собственному желанию, за одним столом со своими приближенными и лакеями. Это была одна семья... Обреченная на смерть... Из двухсот миллионной России только они... Только они, папа, имели смелость и честность разделить участь своего Царя-Мученика!

На обеденном столе вместо скатерти была никогда не сменяемая клеенка. Посуда была простая, грубая. Обед приносили из „советской столовой“. Это был неизменный суп и мясные котлеты с макаронами. Императрица, которая не ест мяса, питалась одними макаронами.

Но не это беда. Нет, папа, — это все были мелочи в сравнении с теми страданиями, которые заставляли испытывать Государя, Авдеев и его охрана. Они во время обеда вваливались толпою в столовую, лезли своими ложками в миску с супом, наваливались на спинку стула Императрицы, грубо шутили, старались как бы нечаянно задеть по лицу Государя. Они плевались и сморкались и в их шумной толпе молча и торопливо, давясь кусками, съедала Царская Семья свой обед.

Это была утонченная нравственная пытка, перед которою ничто все пытки инквизиции. Это пытка Русского хама, пытка животного, которого раздражает благородство его жертвы.

Конечно, ни о каких регулярных занятиях, или работах не могло быть и речи. Выходить можно было только в жалкий сад, окруженный высокою стеною, но и там все были на глазах у охраны.

Так шли дни, недели, месяцы. Кругом сверкали в бога-

том летнем уборе лесов отроги Уральских гор, струилась речка, блестело как зеркало озеро, отражая голубое бездонное небо, отражая правду Божию. И Бог смотрел оттуда и видел муки того, на кого Он возложил бремя власти, кого Он помазал на царство и кто двадцать два года правил великою Русскою Империей, кто был кроток и незлобив сердцем, кто любил Россию и Русский народ больше чем самого себя.

Я гуляла по этим лесам. Я стирала в речки белье Царской Семьи, я плакала о них и я молилась за них! Что могла я сделать больше этого, если вы, генералы, офицеры, если вы солдаты, вы, сильные и могучие, покинули его. А он вас так любил!! . . .

Единственным утешением Царской Семьи было пение духовных песен и особенно Херувимской.

Сидела я в садике, ожидая, когда передадут мне узел с бельем. Был теплый июньский вечер. Было тихо кругом. Охрана завалилась спать. Комиссар куда-то ушел. Недвижно висели круглые листочки берез, и белыя бабочки порхали над примятой травой. Наверху открылось окно. Великая княжна Татьяна Николаевна подошла к нему.

— Нет, никого их нет, — сказала она кому-то. — Можно с открытыми окнами. Мама, вы начинаете.

Прошла минута молчания. Мое сердце разрывалось от тоски за них. И вдруг сверху пять женских голосов запели. Сначала долго тянулось, все поднимаясь, выше и выше, расходясь и сливаясь, стремясь к самому небу, достигая до Бога, тонкое, воздушное „и” . . . „Иже херувимы” — пели Государыня и княжны, „тайно образующе!” и песнь молитва неслась к небу и достигла его глубин. Вся душа во мне плакала и я не могла больше сидеть. Я встала и прошла ближе к окну. У двери стоял часовой рабочий. Серыми глазами он смотрел в небо и казалось весь отдался обаянию царственной песни и что то далекое шевелилось в его тупых мозгах.

А песня молитва лилась и ширилась и чудилось, что поют ее ангелы, души безплотные, что зовет она образумиться весь Русский народ.

Я увидела слезы на глазах у часового. Я подумала, что Русские люди не могут погубить Государя.

„Ангельскими невидомо дориносима чинми”, — замира-ло у окна пение. Я рыдала. Часовой выругался скверным сло-вом и пошел от окна. Точно стыдно стало ему Русского чув-ства . . .

21-го июня областным советом Авдеев и его помощник Мошкин были смещены. Они недостаточно жестоко обра-щались с Государем и его семьей. На его место назначен ев-рей Юровский, а его помощником Русский рабочий Никулин.

Я видала Юровского. Высокий, коренастый, черный ев-рей. Широкий, чуть вздернутый нос, темная борода, усы, лохматые волосы. Темные неприятные глаза. Он распоряжал-ся у дома. Прежнею охрану переселяли в соседний дом, а в дом Ипатова привели десять человек. Я видала, как они входили в калитку. Папа! — это — больше половины не Русские люди. Они угрюмые, мрачные. Настоящие палачи.

В ночь на 4-е июля, около 12-ти часов. Юровский вошел к спавшей Царской Семье и сказал, чтобы все оделись. — Вас сейчас повезут из Екатеринбурга сказал он.

Все оделись, умылись и надели верхнее платье. Юров-ский предложил им спуститься в нижний подвальный этаж. Государь и великия княжны захватили с собою подушки, чтобы положить в экипажи. Когда спускались вниз, на лест-нице было темно. Императрица споткнулась о каменья ступени и больно ушибла себе ногу. По темным комнатам Юровский провел их в самую большую, где окно было с ре-шеткой. Там горела лампа.

— Обождите здесь, сказал Юровский.

Государь просил, чтобы им принесли стулья. Сверху по-дали три стула. На них сели Государь и Наследник. Рядом с Государем и немного позади стал Боткин. Императрица села у стены — возле окна. Рядом с императрицей стала Татьяна, три великия княжны прислонились к стене, справа от них стали Харитонов и Труш, в глубине комнаты Деми-дова с двумя подушками в руках. Они стали так, машинально, сбиваясь вместе, ближе друг к другу. Они думали, что сей-час подадут экипажи, но скоро догадались, в чем дело. Ю-

ровский и Никулин, — еврей и Русский рабочий, ставший рабом еврея, распорядились. Лампа светила тускло. В пустой комнате было грязно и неудобно. Как только все разместились, в комнату вошло семь человек охраны с револьверами в руках и комиссары Баганов и Ермаков, члены чрезвычайки.

И все поняли, что настал конец.

Прошла, папа, может быть, какая-нибудь секунда, но что должны были все они пережить в эту секунду!

— Ваши хотели вас спасти, но им этого не пришлось и мы должны вас расстрелять, — сказал Юровский и первый выстрелил из револьвера. И сейчас же затрепали выстрелы злодеев.

Все упали без стопа, кроме Наследника и Анастасии Николаевны, которые шевелились и Анастасия Николаевна страшно стонала. Юровский добил из револьвера Наследника, один из палачей Анастасию Николаевну.

И сейчас же стали сносить убитых на грузовой автомобиль и увезли в глухой рудник, в лес.

Город спал... Нет, папа, клянусь, я не спала. Я знала, что это будет... И это было. И никто не спал... Кто мог спать, когда убивали Царя! Когда жестокие Иудеи распяли Христа — были и Матерь Божия, и Мария Магдалина и апостолы, и Иосиф Аримафейский умолил отдать ему тело и похоронить по обычаю. И воскрес Христос.

Когда убивали их была низкая смрадная комната, тускло освещенная лампой, был притаившийся в горах спящий город. Их тела, говорят, рубили на части и жгли и обливали серной кислотой.

Папа! Этого ужаса Бог никогда не простит ни Русским, ни евреям!

Нас освободил Колчак. Но к чему это было? Юровского не нашли. Да, если бы и нашли?! Их не воскресить и муки не залечить. Было следствие, были допросы, снимали показания, искали хотя что-либо от них. Ничего не нашли!

Папа! Кому-то надо уничтожить Россию. Кому-то надо уничтожить святую веру во Христа и снять красоту любви со всего мира.

Россия одна сохранила в чистоте веру христианскую и на нее обратил свое внимание враг Христа.

Папа! И я так думаю: нужно было, чтобы ничего не осталось от великого Царства Русского и от Царя, который больше чем кто-либо любил Россию. И они ничего не оставили ни от России, ни от Царской Семьи.

Только так-ли? Осталась память? Память создаст легенды и легенды сотворят чудо. Они вернут Русский народ России и Царя Русскому народу.

Так верит любящая тебя, твоя Таня и верю, что так решишь и ты.

А смерть?... Моя, твоя, их — смерть — это ничто. И чем ужаснее была жизнь и смерть — тем прекраснее будет воскресение!

Они никогда не победят.

Бороться будут. Побеждать, но не победят никогда! Свет побеждает тьму и летом ночь короче дня!

Но как долго еще ждать дня?

Папа, за тебя молюсь, о тебе думаю. Кроме тебя, у меня здесь никого и ничего!

Твоя Таня.

## XL.

В середине зимы, когда именно, Саблин не мог точно установить, так как несмотря на все старания отмечать и запоминать дни и числа, это ему не удавалось, глухою ночью его разбудили. Пришел наряд матросов с юношей-комиссаром.

Пожалуйста, товарищ, на новую квартиру, — сказал ему комиссар.

Саблин привык к известному остроумию советских служащих, изопрявшихся в различных наименованиях смертной казни и подумал, что пришли, чтобы покончить с ним. Он стал, невольно торопясь, одеваться.

— Не торопитесь, товарищ, мы подождем, — сказал,

закуривая папиросу, юноша. — Вас приказано доставить на улицу Гоголя, в вашу квартиру.

Саблин не поверил словам комиссара. Он надел свое измятое, изорванное пальто и пошел, окруженный матросами, к выходу. Морозный воздух опьянил его. Ноги в стоптаных порваных ботинках мерзли. Саблин вздохнул полною грудью. Он давно не дышал свежим воздухом и теперь едва не лишился от него сознания. Он поднял голову. На темном небе ясно горели звезды и месяц висел над собором. Как хороша была жизнь!

У ворот ожидал автомобиль. Саблина посадили на заднее место, рядом сел комиссар, матросы стали на подножки, и автомобиль, качаясь на ухабах, выехал из крепости.

Они свернули на Троицкий мост и Саблин увидел Неву. На мосту, как и во всем городе, фонари не горели. Город был погружен в странную мглу. Ни одно окно в особняках и дворцах на набережной не светилось и другой берег рисовался темною неопределенною линией на фоне яснаго неба и белой, занесенной снегом Невы. Мост был пуст. Ни пешехода, ни извозчика, или автомобиля. Не было городских, милицейских, никакой стражи. Город казался умершим, покинутым. Странно было думать, что это Петербург, тот Петербург, в котором Саблин родился и вырос, в котором весело прожил столько лет и который он так любил. Он оставил его, живущим нервною суетливою жизнью, промчался по нему тогда, когда ходили патрули, горели на углах костры и город жил тревожною, опасливою жизнью. Прошло около года. Прошла та весна, когда его арестовали солдаты и когда он бежал по лесу и мягко разступался снег под его ногами, прошло лето, которое он знал лишь потому, что душно было в камере, сильнее был запах нечистот и гниющих тел со двора и иногда ночью слышалось, как выл ветер и плескали волны Невы. Наступила опять зима. Потому, что еще мало было снега и большие черные польньи были на Неве, — начало зимы.

Как весело бывало в это время в Петербурге на Троицком мосту. Даже в глухие ночные часы весело... А теперь? Мертвый город лежал перед Саблиным.

Автомобиль ехал по набережной мимо спящих дворцов. Двери были глухо замкнуты, окна заколочены, стекла разбиты и дворцы стояли мрачные и нелюдимые. У зимнего дворца с разбитыми стеклами маячил пеший патруль красной армии. Было похоже на то, что комиссар сказал правду: Саблина везли на его квартиру.

Автомобиль остановился у ворот. Матросы долго стучали прикладами в калитку, наконец, вышел какой-то незнакомый старик. Он, увидав матросов, снял шапку с седой головы и низко поклонился.

— Квартиру Саблина! — коротко сказал комиссар.

Пожалуйста, товарищи, — услужливо сказал дрожащим голосом старик и повел на черную лестницу.

На лестнице было темно и комиссар зажег припасенный им огарок. Саблин подумал, что здесь, — будь у него его прежняя сила, он мог бы выхватить ружье у матроса, идущаго сзади и переколоть их всех и уже, если суждено умереть от руки своего, то умереть в борьбе. Но он был так слаб, что, вероятно, не удержал бы ружья в руках. Ноги тряслись и неловко нащупывали ступени, в ушах звенело. Саблин был, как после тяжелой болезни. И думать было нельзя о сопротивлении и борьбе. И Саблин понял теперь, почему тот юноша, которого втолкнули к нему в камеру так спокойно и покорно пошел на смерть по окрику солдата. Голод уже сделал все для порабощения воли. Но, если нет силы сопротивляться, то дай мне, Боже, силы красиво умереть!

Опять стучали сапогами и прикладами в дверь и звонили в дребезжащий звонок. Дверь открыла, освещая комнату маленьким ночником жена Петрова — Авдотья Марковна. Она увидела матросов и ночник задрожал в ее руке. Она едва не уронила его. Она была бледная и исхудалая, и глаза смотрели, голодные и испуганные.

— Хозяина привезли, — сказал комиссар. — Очищайте, товарищи квартиру. Где ночевал всегда генерал?

— В кабинете, ваше высокое превосходительство, — трясясь, сказала Авдотья Марковна.

— Веди, товарищ madame, в кабинет.

— Там матрос-коммунист устроился, — прошептала Авдотья Марковна.

— Прогоним. Не важная птица, — сказал комиссар.

Авдотья Марковна пошла по корридору в гостиную. В гостиной на диване, завернувшись в ковер, спал какой то субъект. Воздух был тяжелый и спертый.

Саблин заметил, что все двери были с испорченными замками, многие без бронзовых ручек. Он шел по своей квартире и не узнавал ее. Мебель была поставлена иначе. Даже при беглом взгляде, при свете ночника, Саблин заметил, что многих вещей не доставало.

Открылась высокая дверь кабинета. При мерцающем свете пламени Саблин почувствовал на себя взгляд синих глаз Веры Константиновны. Портрет был цел и висел на прежнем месте. На его диване, сплетясь в объятии, лежало два тела. При звуке голосов и при стуке шагов они зашевелились и с дивана поднялись растрепанный молодой парень с идиотским лицом и девушка с остриженными по плечи волосами, с веснушками на толстых щеках и маленькими узкими глазами. Она села на диван и болтала босыми, белыми, большими ногами, щурясь на пламя ночника. И здесь был спертый воздух и так непривычно для его кабинета пахло мужицким потом и нечистотами.

— Ну, товарищи, побаловались на господской постели и довольно, — сказал комиссар.

— Куда же мы пойдем, товарищ? Мы здесь по распоряжению Чека поселены. Нас нельзя так гнать среди ночи. Мы коммунисты, — хриплым голосом, почесываясь, протестовал мужчина.

— Я знаю, товарищ, что делаю, — спокойно сказал юноша. — Тут комнат много. Забирайте свои монетки и пошли отсюда. Я имею точное приказание из Реввоенсовета.

— Да, как-же это так, — развел руками парень. — Ужели-же есть такая права, чтобы коммунистов, трудящий народ, можно было середь ночи с постели гнать. Мы, товарищ, не буржуи какие.

— Ну нечего разговаривать, — сказал матрос, — а то смотри выведу в расход и со шкурою твоею.

— Товарищ комиссар, — завопила девица, — я прошу, чтобы меня не оскорбляли.

Юноша посмотрел на нее и ничего не сказал. Но вероятно в его молчаливом взгляде она прочла что-либо угрожающее, потому что быстро стала натягивать на свои не совсем чистыя ноги шелковые черные чулки.

— А вы, товарищ madame, — обратился комиссар к Авдотье Марковне, — поставьте ночничек на стол и принесите сюда подушки, простыни и одеяло, да приготовьте умывальник, воду и все, что полагается, чтобы генерал ночевал, как у себя дома. А к утру согрейте чаю и подайте завтрак.

— Да, как же, ваше высокое превосходительство, я это сделаю, — сказала Авдотья Марковна, — когда все белье забрали коммунисты эти самые. Вишь и чулки то она напяливает барышницы. Вчера пришла, никаких на ней чулков не было, все перерыли, отобрали и рубашечки и чулки и все, что я спрятать успела.

— Товарищ, сказал комиссар высокому матросу. — Пойдите с товарищем madame и отберите, что нужно для ночлега. Да предупредите, что завтра с утра обе соседняя комнаты освободить придется для караула.

Пара, спавшая на диване Саблина удалилась, оставив одну подушку, смятыя простыни и пуховое одеяло. Авдотья Марковна вернулась, неся несколько более чистую подушку и еще одеяло и стала устраивать Саблину постель. Комиссар распорядился поставить часового у дверей кабинета, пожелал Саблину спокойной ночи и вышел.

Авдотья Марковна молча разставляла посуду, вытряхивала одеяла, разглаживала простыни. Саблин стоял, прислонившись спиною к книжному шкафу.

— Ну, здравствуйте, — сказал Саблин. — Как же вы тут жили без меня?

Авдотья Марковна остановилась с одеялом в руке, слезливо заморгала, махнула рукою и чуть слышно сказала.

— Не спрашивайте, ваше превосходительство. Стены

тут слышат . . . Его то . . . голубчика моего, Фанячку то . . . мужа . . . Разстреляли . . . Вот сороковой день завтра будет. А за что! Кто их знает . . .

И она торопливыми, точно старушечьими шагами вышла из кабинета.

Саблин остался один. Он взял ночник и подошел к столу. Здесь был заперт им и забыт, когда он бежал, роковой дневник Веры Константиновны. Стол был взломан. Шкапчик с бумагами был пуст. Саблин подошел к библиотеке. Книг на половину не было. Кое где стояли разрозненные томы. Переплеты были оторваны. Но по стенам вправо и влево от портрета Веры Константиновны чинными рядами висели портреты предков. Ночник давал слишком мало света, но видны были белки глаз и то тут, то там проступал белый лоб, шитье мундира, кружево платья.

Саблин шатался от утомления. В глазах темнело. Он торопливо разделся и бросился на свой диван. Сладкое чувство сознания, что он еще жив, что его еще не казнили, охватило его и он крепко, без снов, заснул . . .

## XLI.

Когда Саблин проснулся был уже день. Угревшись под двумя одеялами, он лежал и долго не мог сообразить, где он находится и что с ним. Временами он думал, что все события последних десяти месяцев, уход из Петербурга, арест на железной дороге, Смольный, Петропавловская крепость, письмо Тани с вестью о мученической кончине тех, кого он так любил — все это было тяжелым сном. И вот проснулся он и смотрит зимний день в окно и ласково улыбается с полотна портрета вечнолюбимая, дорогая Вера.

Сон подкрепил его. В голове стало яснее. Саблин заметил полное отсутствие ковров и звериных шкур в его кабинете. Паркетный пол был гол, загажен и заплеснев. Места ми шелуха от подсолнухов, плевки и уличная грязь образовали такой плотный серый слой, что пол казался покрытым какою то серою мастикою . . . Вырванные замки из стола оставили зияющие отверстия у дверей шкапчиков и

ящиков. Стол был пуст. Бронзовые статуетки, малахитовый прибор исчезли. У большого мягкого кресла кожа была содрана и оно стояло с белой уже просиженной парусиной. Воздух был холодный и тяжелый и по углам висела паутина.

Нет. Это все было. И революция, и большевики, и оскорбления солдат, и Коржииков, и тюрьма. Что будет? Не известно. Почему его перевезли на квартиру? Может быть переменялось правительство? Может быть кровавый туман перестал носиться по России? Или его ожидают новые пытки, новые муки?

---

Саблин встал, умылся и оделся. Он подошел к портрету. Чья то кощунственная рука карандашем и чернилами измазала и исчертила скверными надписями белое подвенечное платье Веры Контантиновны. Саблин тяжело вздохнул и подошел к окну. Знакомый вид открылся перед ним. Наискось должны были быть вывески кондитерской. Их не было. Окна кондитерской были заложены досками. Подле нея, у какой то двери стоял длинный хвост чего то ожидающих людей. Бедно одетые люди топтались на морозе. Но они смеялись чему то. Красногвардеец с винтовкой похаживал подле. Прилично одетый старик пронес под мышкой березовое полено. Две барышни в хороших шубках везли на маленьких санках две доски какого то забора и грязный мешок чем то наполненный. Их лица были исхудалыя, но оне смеялись. Вправо уходила широкая улица и чуть видна была площадь. Три человека стояли и читали что то приклеенное на стене.

Шла в Петербурге какая то жизнь. И ужас охватил Саблина. Он, Петербуржец, не знал и не понимал этой жизни. Точно не десять месяцев прошло, а прошло много веков и Петербург вымер. Те странные люди, которых видел на улицах Саблин, не походили на Петербуржцев. Пробежал сытый, но плохо чищенный вороной рысак и в санках сидел молодой человек в серой солдатской шинели, с красной повязкой на рукаве и золотыми звездами на ней. Он обнимал правой рукою богато одетую женщину. Но и рысак, и кучер, и молодой человек и женщина так не походи-

ли на настоящего рысака, настоящего офицера и настоящую женщину что казалась карикатурой. Глядя на свою родную улицу Саблин начинал понимать декадентов и футуристов. Он понимал их кривые дома, угловатых лошадей, изломанные линии в изображении людей. Петербургская жизнь претворилась в картину и картину скверную, скверного тона, скверного пошиба. В очереди стояла девушка. Она была хороша собою. Но лицо у нея было бледное, больное, на голове была неуклюже напялена старомодная шляпка, а на теле какая то кацавейка, из которой по швам торчала вата. Крошечные ножки в башмаках замерзли и она танцевала дробный танец, чтобы согреться. Рядом с нею стояла толстомордая, скуластая женщина, типичная охтянка. На ней была одета изящная бархатная шапочка с белым *esprit*,\*) богатый котиковый сак и серые ботинки, с трудом напяленные на ноги. Она с величавым равнодушием смотрела на свою соседку и Саблину казалось, что он слышал, как она говорила полным презрения голосом: — „буржуйка!“

За эти десять месяцев жизнь Петербурга претворилась в карикатуру над жизнью и Саблину жутко было смотреть на нее.

Авдотья Марковна заглянула к нему и, увидав, что он встал, принесла ему чай, хлеб и сахар.

— Комиссар прислали, — сказала она. — Велели вам всего давать. Я сюда подала. В столовой то коммунисты, да мамзели ихняя. Вам не особенно будет приятно.

И только Саблин хотел ее о чем то спросить, как она ушла, видимо боясь разговора с ним.

Саблин поймал себя на мысли, что его не возмущает погром его квартиры, не коробит то, что его комнатами, его вещами распоряжаются совершенно чужие люди и что он ощущает животное счастье пить настоящий чай, с черным хлебом и сахаром. Он вдруг заметил, что ему приятен свет и простор холодной, грязной комнаты, и он не трясется от злобы при виде поруганного портрета любимой женщины и раскраденных бумаг семейного архива.

---

\*) Перо от цапли.

«Что это?» подумал он. — «Воспитание голодом и тюрьмою? Порабощение воли, подчинение духа велениям тела? И, если я поддался на это и ощутил это, я, сильный, то, что же будет со слабыми? Они лизать будут руку, которая будет их избивать».

Как то, недели две тому назад, комиссар юрист, навещавший его в крепости, сказал ему новое *beau mot*\*\*) Троцкого: — «мы достигли от буржуазии такого подчинения что, если я прикажу завтра всем явиться на Гороховую для порки, то у Гороховой построится длинный хвост буржуазии, жаждущей исполнить нашу волю!».

Это власть голода. Это власть куска хлеба. Но он, Саблин, этому не поддастся. Как бы слаб он ни был!

## XLII.

В шесть часов вечера дверь кабинета распахнулась и в неё вошел, не раздеваясь, в солдатской шинели на кенгуровом меху высокий плотный человек. В кабинете, как и во всей квартире горело электричество, и Саблин в вошедшем сейчас же узнал генерала Пестрецова.

Саблин сидел за письменным столом и читал найденный им в библиотеке томик сочинений Куприна.

Он не встал навстречу незваному гостю и скрестил на груди руки. Пестрецов понял его движение и сказал:

— Ну, как хочешь! Не будем из-за этого ссориться. Когда ты выслушаешь меня, когда ты все поймешь, ты будешь на меня смотреть совсем другими глазами. Ты многое пережил, Саша, и я пережил не мало. Саша, — я два месяца жил тем, что распродал то немногое, что я имел. Потом и это у меня отобрали, и я шесть дней, зимою, торговал на улице печеньями, которые делала Нина Николаевна. И вот, тогда я получил приглашение на Николаевский вокзал. Там в вагонах Царского поезда я нашел своих товарищей по Академии: Бонч-

---

\*\*) Слово.

Бруевича, Парскаго и Балтийскаго. Мы долго и откровенно говорили. Сапа, — *tout comprendre c'est tout pardonner.*\*) Все наше горе в том, что вы не понимаете их. Да, Сапа. Ну к чему это! Ты ехал к Каледину и Корнилову! Это было в марте... Сапа, ты меня всегда считал за умнаго человека, да... Я знаю, знаю... И я тебя тоже, но прости, мой дорогой, я не понимаю одного. Ты молчишь, ну молчи и слушай, слушай.

— Я слушаю вас, ваше высокопревосходительство, только потому, что я не могу вас выгнать вон. Сила на вашей стороне, — слабым голосом проговорил Саблин.

— Ах, Сапа! Т-сс! Типе, ради Бога, типе! — махая ему рукою, сказал Пестерцов.

— Не поминайте Божьяго имени — вы продавшийся дьяволу!

— Ах... Все тот же! Но погоди... Ты другое скажешь, когда все узнаешь. Рабоче-крестьянское правительство было вынуждено вступить в Бресте в переговоры с немцами. Армия была разрушена задолго до большевиков. Приказ № 1 составили, правда, в Совете, но утвердил-то его Гучков и дали широкое распространение по всему фронту главкосев, главкозац, главкоюз. Декларацию прав солдата писал Керенский. Керенский насаждал комитеты и выборное начало. Боевать стало невозможно. Мы имели не армию, а толпу мародеров. Не ты ли, Сапа, подавал докладную записку и просил об отставке. Если бы не заключение мира в Бресте — немцы заняли бы Петербург и Москву и обрушились бы всеми силами на союзников, никем не связанные. Брестский мир не предал, а спас союзников.

— Точка зрения Ленина, получившего за этот мир пятьдесят миллионов марок от германского генерального штаба.

— Мы не отрицаем того, что Ленин получил деньги от немцев, но он обманул их. Когда генерал Гофман в Бресте стучал кулаком на нашу делегацию, Троцкий нашел выход из тяжелого положения и заявил: — „мы не воюем и не подписываем мира” и решено, ты слышишь, Сапа, — ре-

---

\*) Все понять — простить.

шено воевать! И солдаты с нами идут и нам повинуются.

— Разстрелями и пытками!

— Временное правительство развратило армию и нам ничего не оставалось другого, как ввести самую строгую железную дисциплину.

— Дисциплина без власти начальников. Дисциплина с комиссарами? — вырвалось у Саблина.

— Ты знаешь, Сапа, что сказал Троцкий на подобный же вопрос Балтийского, автора нашего новаго регламента: — „если политком посмеет вмешаться в ваши оперативныя распоряжения — я его разстреляю по вашей телеграмме моей властью. Если вы вздумаете устроить измену на фронте, политкомы обязаны вас разстрелять по моей телеграмме ихней властью!

— Это называется служить не за совесть, а за страх.

— Но, Сапа, у кого сохранилась теперь совесть? Поверь, милый друг, что большевики делают русское дело. Оглянись, одумайся, кто против них? Казаки — всегда готовые бунтовать, прирожденные грабители, Деникин, Дроздовский, ну, скажем, адмирал Колчак, Лукомский, Романовский, Драгомиров. Кто они? Ну еще о Деникине, Колчаке и Лукомском мы слышали до войны. Так ведь после Быховского заключения они озлобились. Посмотри, теперь кто с нами! Брусилов — наш, идейно наш, он полностью воспринял народно-крестьянскую власть и он понимает, что только с большевиками можно создать сильную Россию. С нами Зайончковский, — ты его знаешь, — блестящий генерал, талант, — с нами Гутор, Балтийский, Лебедев, Свечин, Незнамов, все передовые военные умы с нами. Самойлов, мой старый начальник штаба, заворачивает фронтом против Деникина и недавно еще говорил мне: — „посмотрим, кто кого! Мои мужички, или казаки Антона?!... Сапа, то, о чем грезили лучшие умы нашей Академии — всеобщее обучение военному делу народа, в школах и в деревнях, создание вооруженного сто-миллионного народа осуществлено Троцким. Лебедев составил проект спортивных ферейнов и военного развития юношества и Троцкий создал великий всевоеннобуч! Мы, Сапа, призваны создать величайшую армию

в мире и покорить мир. Нам недостает тебя! И как это счастливо вышло, что тебя успели перехватить и ты можешь быть с нами. Я докладывал о тебе Троцкому и он очень рад поручить тебе создание красной кавалерии.

Саблин встал. О как он был слаб! О, проклятые месяцы, когда он сидел в крепости и питался теплой водой и ржавым хлебом. Ноги едва держали его тело. Ему хотелось кинуться и задушить этого разжиревшего старика, сидевшего в теплой шинели на диване. Ему хотелось накричать на него, уничтожить и унижить его. Дать ему сначала нравственную пощечину, а потом бить, бить его по лицу, по чем попало за его гнусное предложение, за его подлые речи. Но голос срывался, фразы не имели силы и казались ему бледными.

— Ваше высокопревосходительство, — воскликнул он. — Понимаете ли вы всю гнусность и подлость того, что вы говорите и делаете!? Вы помогаете Ленину создать армию... Для чего?... Для России?... Для России?... О, если бы им нужна была Россия!! Если бы они ею дорожили!? Им нужен III интернационал. Им нужна революция всего мира, избиение буржуев и капиталистов... уничтожение культуры... обращение людей в скотов и порабощение их себе... И вы... вы все... чем лучше вы создадите красную армию, чем больше вы вложите ума, силы воли и таланта, тем больше вы сделаете зла для России... Но, слышите!.. Вы никогда, никогда... не создадите настоящей армии!! Вы вынули из нея душу русскую... Вы уничтожили, вытравили веру из солдата русского... Вы убили Царя, вы заливаете кровью отечество.

Голос Саблина сорвался. Он сказал последние слова хриплым шопотом. Ноги не держали его. Он снова сел в тяжелое дубовое кресло, купленное когда-то на кустарной выставке, с налокотниками в виде топоров и спинкой в форме дуги и рукавиц и тихим голосом произнес:

— Смерть... Я знаю, что меня ожидает — смерть... Знаю... Я готов к ней... Оглянитесь кругом... Это вы разрушили... Загадили... заплевали... покрыли грязными надписями красоту... это вы толкнули дикий и невеже-

ственный народ на кровь, на убийство и на безудержный грабеж... Вы... вы... Смерть моя скоро. Я знаю... И вот я говорю вам... Никогда! Никогда вы не разрушите России! Слышите: Россия встанет и так прихлопнет вас, что от вас ничего не останется!... Она найдет своего Царя, но вы, изменившие Родине генералы, сделаете то, что она оторвется надолго от вас и пойдет одна без интеллигенции, без образования пробивать свой путь... Не федеративная... но единая неделимая, не республика, но монархия, не с жидками, но без жидов будет Россия... И вы — вы только на двести лет отодвинете ее назад, вернете ее к наемным рейтарским и драгунским полкам, которые будут усмирять ваш грабительский всевоенубуч... Антихрист сокрушает великое дело христианской любви — и вы ему покорились. Здесь на земле вы сгорите в геенне огненной народного гнева и, зная, ваше высокопревосходительство, что, если наш народ терпелив и покорен, то он же невероятно жесток в гневе своем и он постоит за свою Россию!..

Несколько минут в кабинете было молчание. Пестрецов ничего не отвечал на страстную, сказанную слабым прерывающимся голосом речь Саблина. За стеною было слышно, как в гостиной ругались коммунисты. Наконец Пестрецов встал и заговорил:

— Сапа... — сказал он, и старые теплые сердечные тона послышались Саблину в его голосе. — Ты сказал: — смерть... Ты не знаешь, до чего может дойти Ленин, если он узнает, что ты продолжаешь саботировать. Не забудь: — ты обвинен в стремлении пробраться к Корнилову, шедшему войною на республику советов. Ты не отрицал этого. Это измена народу и она карается смертью... Вместо смерти я предлагаю тебе отремонтировать твою квартиру, вернуть по возможности все то, что унесено от тебя, два комплекта обмундирования и...

— Молчите! ваше высокопревосходительство! Не злоупотребляйте тем, что вы сильны, а я слаб. Я не изменю родине никогда? И, если я не мог умереть за нее в рядах доблестной Добровольческой армии — я готов умереть здесь.

— Тебя замучают, — тихо сказал Пестрецов.

Лицо Саблина просветлело.

— Тем лучше, сказал он. — Чем страшнее муки мои ч тех генералов и офицеров, которых вы истязуете в чрезвычайках — тем больше подвиг нашего креста. Россия живет, не год и не два! И, когда встанет она, — ей будет на кого опереться и на кого указать молодому поколению! У нас найдутся свои братья Гракхи, свои Муции Сцеволы и к незабвенной памяти Сусанина мы приложим память о тысячах мучеников за русскую землю... И я... как счастье приму муки... И с ними... славу!..

— Сапа, — едва слышно проговорил Пестерцов и старческий подбородок его дрогнул. — Мне приказано передать, что... твоя дочь Татьяна... арестована в Москве и находится в распоряжении Чрезвычайки... Если ты согласишься, — она немедленно, в полной неприкосновенности, будет возвращена к тебе.

Мучительный стон вырвался у Саблина. Он поднял глаза на портрет Веры Константиновны, ища у нея помощи и совета. Синие глаза ея смотрели твердо и непоколебимо. В нежной красоте его жены сквозил стальной характер. Она отдала свою жизнь и она отдала и жизнь дочери, но не сделает гнусного дела.

— Никогда! — прошептал Саблин. — Идите вон... Вы... Негодяй!

Саблин схватился за голову. То, что он увидал, поразило его и заставило задрожать всем телом.

Пестрецов медленно поднял с дивана, где сидел, свое грузное стариковское тело, преклонил негибкия колени и поклонился земным поклоном Саблину. Потом он тяжело поднялся и, молча, шаркающими шагами на трясущихся ногах вышел за дверь.

Саблин был так ошеломлен, что не мог ничего сказать и остался сидеть в кресле. Через несколько минут после ухода Пестерцова электричество внезапно погасло во всей квартире.

### XLIII.

Предчувствие тяжелого, неотвратимого, угнетало Саблина. В кабинет принесли керосиновую лампу и Авдотья Марковна подала ему обед.

— От комиссара прислали, — сказала она.

Обед был хороший. Был бульон с куском мяса, был кусок вареного судака с картофелем, крыло жареной курицы и два сладких пирожка. Видно, комиссар еще считал дело сделанным и не допускал мысли об отказе.

После обеда лампу убрали и Саблин остался в сумраке кабинета. В окна с сорванными портьерами и шторами гляделась светлая зимняя Петербургская ночь. Страшная тишина была кругом. Ни один фонарь нигде не горел, ни одно окно не светилось, — город казался мертвым. В нем было так тихо, что, когда по Невскому проехал автомобиль, то было слышно в квартире. Саблин знал, что в эту ночь его возьмут и готовился к этому. Он лег, не раздеваясь, чтобы избежать унизительного одевания на глазах издевающейся стражи. Он уснул, и тотчас-же перед ним развернулся страшный сон. Он видел море мутной воды. Оно чуть волновалось и в нем плавали и тонули многия знакомыя лица. Саблин плыл, но уже не хватало силы. Он стал тонуть и, опускаясь на дно, он увидел, что дно завалено пушками, знаменами с двуглавым орлом и костями. И вдруг среди костей он увидел два мертвых тела. Они были привязаны за ноги к чугунным ядрам и вода подняла их. В рубашке с погонами Пажеского корпуса и при амуниции кольхался его убитый Коля и в белом бальном платье Таня. Вода кольхала их тела. Зеленоватыя лица качались и вода поднимала и опускала черныя ресницы глаз. Утопающего Саблина тянуло к ним. Он ощущал во всем теле жуткую сырость и страх перед зелеными мертвецами, родными ему и вместе с тем такими страшными.

Он проснулся. В комнате было сыро и холодно. И под одеялами Саблину не удалось согреться. Зимняя ночь бро-

сала мутный свет в комнату и, как призрак, смотрела с полотна Вера Константиновна. Все еще под впечатлением тяжелого сна Саблин лежал и думал. Сон был повятен ему. В крепости комиссар ему рассказывал о водолазе, спущенном зачем то в Севастопольском порту и сошедшем с ума. Он увидел на дне толпу морских офицеров, сброшенных матросами в воду. Матросы привязали к ногам их ядра и теперь тела распузли, глаза вылезли из орбит и вода приподняла со два морского десятка тел в золотых погонах. Она шевелила ими и, казалось, по словам водолаза, что утопленные офицеры сошлись на дне морском на митинг и размахивали руками. Рассказ комиссара произвел тогда сильное впечатление на Саблина. И сейчас этот сон долго не шел из головы и тяготил его. „Чтонибудь случится со мною... Но я это знал и на это шел”, подумал Саблин. „Но Таня! Таня!”

Саблин стал думать о Пестредове, о Самойлове, о всех тех крупных именах военного мира, которые ему только что назвал Пестрецов. Они соблазнились. Они пошли за благами мира, пошли за усиленным пайком, за двумя комплектами обмундирования, за квартирой. Как низко падает человек, лишенный собственности! И кто делает это и для чего? Руководит-ли всем этим зависть обездоленного, дикого пролетариата, желающего натешиться над буржуями, корни этого движения в бунтарском характере Русского босяка, получившего власть и силу и Русская революция просто бессмысленный бунт, или причины ея глубже и кроются в таинственном решении какого-то высшего совета, синдиката еврейских банков, руководимого единою волею, стремящеюся уничтожить христианский мир. Факты двоились. Одни неуклонно и точно показывали Саблину, что он стоит не перед простым бунтом Русского хама, но перед систематическим истреблением Русского государства. С необычайным упорством уничтожали и разстреливали все сильное и здоровое, все честное, прямое и не гибкое, все образованное и работоспособное в России. Профессора, ученые, лучшие представители социал-революционной партии, гибли под ударами палачей. Гибли лучшие генералы и тысячами истреблялось рыцарское сословие офицеров, уничтожалась честная и неиспорченная молодежь,

истреблялись казаки. Саблин, командуя дивизией, присмотрелся к казакам и научился любить их и уважать. Это были Русские из Русских, это были крепкие, сильные люди, способные создать государственность. Их уничтожали. И, странным образом, в уничтожении всего сильного в России принимали участие не одни большевики. Саблин уже в крепости слышал о несогласиях в стане белых, о том, что там идет та же работа по уничтожению, или обезвреживанию всех сильных, патриотически настроенных людей. Как только какое-либо лицо начинало проявлять власть и характер и неуклонно стремиться к великой России неизменно его облепляла толпа каких-то темных людей, создавались громоздкие совещания, комитеты и власть расплывалась и гибло начатое им дело. В этом разрушении Русского дела несомненно принимала участие Германия, но это же делали и Англия и Франция — себе же на голову. И невольно зарождалась в голове мысль, что действительно событиями во всей вселенной руководит воля какой-то организации, возглавляемой одним лицом. И это лицо поставило себе целью уничтожить Россию и Русский народ, как народ христиански настроенный. Только в России сохранилась любовь сердца. Только в России возможны Сонечки Мармеладовы с их любовью к ближнему более, нежели к самому себе, лишь в России осталось „Христа ради“ более могущественное, нежели все благотворительные организации мира. И на Россию обратилось мрачное лицо Сатаны.

Но были факты и другого характера. Все могло оказаться гораздо проще. Был дикий и разгульный Русский народ, не знающий удержу. Была шайка утопистов во главе с Лениным, уверовавшая в возможность сказок Уэльса на земле. Была экзальтированная, неуравновешенная, мечтательная Русская молодежь с ее постоянным стремлением к правде. И все это претворилось в кровавый Русский большевизм. Молодежь Русская, как во времена Империи, закрывала глаза на революционные убийства, на казни городских и сановников, на растерзанные бомбами на улице невинные жертвы и видела только произвол жандармов и охранного отделения,

так и теперь закрывает глаза на кровь, текущую со дворов чрезвычайкаек, и считает это неизбежно нужным.

Кто, как не эта молодежь сочинила коммунистическую марсельезу, где что ни слово, то призыв к убийству и крови? Мечтательность беспочвенного Русского интеллигента, с завистью глядящего на сытых и богатых людей, создала ее. А упала она на благодарную почву.

Из похабной матерной Русской ругани, из непробудного пьянства, из отсутствия уважения к своему прошлому родился Русский коммунизм. В нем есть и от артели Русской и от шумной разбойничьей ватаги, где кровь сплелась с поэзией и все это сдобрено еврейским цинизмом.

Русское „наплевать” — помогло развиться ему. Русская лень воспитала его . . .

„Прав-ли я”, думал Саблин, „отказываясь стать в ряды и работать с большевиками? Может быть целым рядом усилий людей честных удалось бы свергнуть коммунистов с их ужасного пути?”

„Нет! невозможно работать в той обстановке, которую они создали. Это пожар на кладбище. Это дом умалишенных. Остается одно: — умереть”. Долгим голодом и мыслями о смерти Саблин подготовил себя ко всему. Как понимал он теперь мучеников! Их мужество тела, происходило оттого, что тело умирало раньше, чем наступали муки и дух торжествовал над ним.

Проходили минуты, а Саблину они казались часами. Мысль беспорядочно металась в голове. Настоящее, будущее было так серо, грязно и безобразно, что смерть казалась лучше. Но прошлое было прекрасно. И Саблин гнал воспоминания и старался не думать о том, чем он жил все свои сорок четыре года.

#### XLIV.

Вдруг ярко, по всей квартире, вспыхнуло электричество. В ночной тишине было слышно, как по комнатам проснулись коммунисты и тревожно шептались и шевелились, что-то

укладывая и увязывая. Авдотья Марковна в рваном старом капоте, простоволосая, заглянула в дверь и испуганно сказала:

— Ваше высокое превосходительство. Сейчас обыск будет.

Но Саблин понял, что дело уже не в обыске. Настал его последний час.

На улице стучали машины автомобилей. Саблин подошел к окну. Из большого грузовика выскакивали солдаты-красноармейцы. Сзади него, освещая его своими фонарями, стоял маленький Форд. В нем сидело два человека.

Через несколько минут в кабинет Саблина вошло восемь красноармейцев. Один был гаже другого. Четверо — молодые, лет по восемнадцать с тупыми безусыми наглыми лицами. Пятый рыжий, в веснушках, показался знакомым Саблину. Узкие свиные глаза тупо смотрели из-под красных век. Шестой был здоровый мужик с обритым лицом. К его мясистому носу, и толстым щекам не шли маленькие остриженные усы. Лицо его выражало звериную радость. Два остальные были китайцы.

Они всею толпою бросились на Саблина, как будто боялись, что он убежит, или окажет сопротивление. Они схватили его, насильно посадили в дубовое кресло и крепко привязали его руки к налокотникам, ноги к ножкам и поясицу к спинке. Саблин потерял всякую возможность шевелиться. Кто-то у дверей распорядился ими.

— Поставьте у постели! — сказал он. — Поверните немного к окну. Так! Довольно.

Саблина усадили против портрета Веры Константиновны и Саблин понял, что кроме мук физических его ожидают муки нравственные.

— Теперь все уйдите! — Вам—пу, — приготовить все, как в Харькове делал. Понимаешь! Ожидать в соседней комнате, — раздавался голос в дверях.

Кабинет опустел. Саблин остался в нем один. Вера смотрела на него с портрета и против воли Саблина мучительно сладкия воспоминания теснились в его мозгу.

Смелыми, короткими шагами вошел в комнату молодой

человек с блестящими серыми глазами. Он был одет в кожаное платье. Два больших револьвера висели у него по бокам на желтом поясе, стягивавшем черную шведскую куртку.

Саблин узнал в нем Коржикова.

Но не только Коржикова узнал он в молодом человеке, — он узнал в нем самого себя. Да. Таким был он в первый год своего офицерства, когда был на вечере у Гриценки. И рост его, и его маленькия породистыя руки и его гордая Саблинская осанка и смелая походка. Так подошел он тогда к Гриценке и заслонил собою Захара...

Глаза Коржикова неестественно горели.

Он подошел к письменному столу и оперся на него.

— Папаша! — улыбаясь, сказал он... — Вот вы и мой. А как отстаивали вас в рев-воен-совете. Сам Троцкий был за вас.

Было слышно, как на улице шоферы ходили подле автомобилей и переговаривались короткими словами.

— Вы знаете, кто я? — вдруг коротко спросил Коржиков.

Саблин молчал.

Коржиков достал из кармана бумажник и вынул две карточки. Он поднес их к лицу Саблина. Одна была карточка Маруси, другая Саблина в молодости.

— Это мои папа и мама, — сказал, подмигивая, Коржиков. — И папа, это вы. Чувствуете ко мне отцовскую нежность? А? Гордитесь мною? А? Вы в мои годы были только корнет гвардейского полка и ерник, а я — комиссар и член чрезвычайки... Карьера, папаша! Не по вашему начинаю. Вот, смотрю на вас, — похожи на меня. Я ваше семя, а у меня к вам ничего, никакого чувства. Что этот стол, что вы, все одно и то же.

Коржиков закурил папиросу.

— Курить не хотите? сказал он, и, подойдя всунул свою папиросу в рот Саблину. Саблину страшно хотелось курить, но он ее выбросил изо рта.

— Как хотите, сказал Коржиков. — Воля ваша. Давайте, пофилософствуем немного. Есть у человека душа, или нет? По вашему-есть, по моему нет. По вашему — человек от

Бога, по моему и Бога нет. Человек, что кролик или там, что вошь, родился из слизи и ничего в нем нет. Вот вы, поди-ка, мамашу мою любили, а она то вас бесконечно, и от любви вашей родился я. А я и не знаю вас. Ну, так где же душа? Есть у меня приятельница, товарищ Дора. Она в Одесской чрезвычайке все эти дни работала. Она этим вопросом занималась. „Ежели”, говорит, „у человека душа есть так куда же она девается, когда его убиваешь”. И вот так она делала. Сядет на стул, разставив ноги, а сзади нея контр революционеров голых поставят. И заставляют, чтобы они под стулом между ног ея проползали и, как покажется голова, она в висок из револьвера и бахнет. И смотрит, что будет. Ничего. Понимаете. Только запах скверный. Человек по тридцать в день она ликвидировала и никакой души не видала. Ну так, значит, и Бога нет...

— Вы молчите, — продолжал, затянувшись папирсой, Коржиков. Не возражаете. Вам, поди, неприятно все это. Сын родной и все прочее. Память мамашы и такие дела! Да... Хотите можно иначе все это обернуть? Вот здесь, сегодня ночью, составите бумажку, что вы признаете меня своим законным сыном. Да. И именоваться мне впредь Виктором Александровичем Саблиным... А впрочем, зачем Виктором? Я ведь не крещеный. У вас, поди, имена то родовые. Мне в дедушку надо бы — Николаем Александровичем быть. Да... И сами вы предложение принимаете и вступаете в реввоен-совет и в коммунистическую партию. Брусилов сына в конницу Буденного отдал — и вы меня возьмете в свою красную кавалерию. Звезду, папаша, пятиконечную на вас налешим, поясок командирский на рукав и фу ты, ну ты — генерал Саблин присягает служить под красным знаменем III интернационала! Карьера, папаша?

Коржиков оглянул портреты предков, висевшие по сторонам портрета Веры Константиновны и сказал с тою же милою интонацией голоса, как некогда сказала это Маруся.

— Предки ваши!... То-то, поди, обрадуются. А вы, папаша, того... не бойтесь. Ведь их нет вовсе. Предков то! Это все ерунда. Традиция рода! Ни к чему это, папаша! Выдумка одна... А это? Последняя ваша, Распутинская распутин-

ца... Я ведь, папаша, дневничек ея прочитал, фамильный... Знаете, когда выемку у вас сделали и к нам в чрезвычайку доставили я заинтересовался. Бумаги генерала Саблина. Как же! Может, это голос крови? Интерес к делу мажечи. Презабавная история. А что же вы то! Эх вы, — герой! Рыцарь! Папаша, — вы право, странный человек. Тогда дядюшку моего, Любовина, отдуть как следует за его продерзости не смогли, потом меня Виктору Викторовичу отдали, Распутина так спустили. Как же это так? Она то, пожалуй, посильнее была. А хороша! Что папаша — вкусная она в постельке была? Я таких люблю. Я вообще в вас пошел. Только куда! Дальше вас. Я все испробовал, все испытал. Ну, положим, теперь при нашем коммунистическом советском строе возможности шире стали. Вы, папаша, пробовали когда либо семилетнюю невинность! И не пробуйте, не стоит. Разбивали мы тут гнездо контр-революционеров. Шпионская организация. Понимаете, отец у Деникина в армии, а мать, жена его, здесь — и письма обнаружили. Ну, конечно, к нам. Явился я. Она ничего из себя не представляла — отдал ее красноармейцам. А тут девочка бросилась ко мне. Голубоглазая, ресницы длинныя, черные волосики, как пух. Руки мои целует. — „Маму, маму“! кричит, „спасите маму“. Ножки пухленькия. Ну я распалился. Понес на постель... Такой, знаете, испуг, такая мука в глазах, а чувства — никакого. Холод один. Пол часа я над ней мучился. Вырывалась, кусалась, плакала...

Коржиков замолчал.

— Что же девочка? невольно спросил Саблин.

— Съума сошла. Такая дикая стала. Я пристрелил ее... Да вы что побледнели то? Эко какой! А вы сами поди, балуясь, никогда птичку на дереве не убивали? Так, синичку какую-нибудь, или снегирика? А на деле-то — не все одно. Вы отец — я сын. У нас с вами масштабы только разные. Между нами легла великая Русская революция, а ведь девочка то — это одно из завоеваний революции... Ну, это я так, отвлекся. Развлечь вас, поманить хотел... Папаша, — ведь Императорский балет цел. Танцует. И того — комиссарам то можно и развлечься. Хотите антикваром быть — Пельцер

к вашим услугам. Да, что! Ублажим... Так, как же папаша? А? Саблины — отец и сын в Красной армии. Сколько солдат и казаков от Деникина к вам перебежит. А? уж, скажут, если Саблин рабоче-крестьянскую власть признал, — ну тогда, значит, хороша она. Правильная, законная власть. Что же, решились? Вы только, головой кивните, а там все, как по щучьему веленью, явится. И автомобиль, и артисточка — содком, как называем мы: — содержанка комиссара. И золото, и почет! А, папаша? Ведь это, правда, сыновняя любовь говорит во мне. На манер как бы — голос крови что-ли!..

Коржиков выжидал ответа. Но Саблин молчал. Он смотрел на Коржикова с таким ужасным выражением страдания и ненависти в глазах, что Коржиков прочел в них ответ.

— Ну так... — сказал он, вставая со стола и отходя в угол комнаты. — Откровенно говоря, я и не ожидал иного ответа от вас. Все-таки и вы и я — Саблины. Вы служите под двуглавым орлом, я служу под красным знаменем III интернационала. И оба свое дело понимаем точно... Простите, я вам еще скажу последнее. Если вы не согласитесь, то кроме вашей смерти, погибнет и ваша дочь. Сестрица моя. Вероятно она красива. Я лично надругаюсь над нею, чтобы показать людям, что гром не придавит меня за кровосмешение, а потом отдам двенадцати красноармейцам-сифилитикам. Поняли? Мое слово твердо! — Согласны вступить в партию?

— Никогда! — воскликнул Саблин.

— Хорошо-с, — холодно сказал Коржиков. — Я принимаю меры.

#### XLV.

— Вы любили ее, — сказал Коржиков. Он стал сзади Саблина и говорил почти на ухо ему.

— Вам дорога ее память. Вы смотрите на ее портрет и вам кажется, что она благословляет ваши муки и смерть. Мы изуродуем ее.

Коржиков вынул револьвер.

— Стрелок я хороший. Вместо синяго правого глаза пусть будет черная дыра. А вы, папаша, воображайте, что она живая.

Глухо ударил сзади Саблина выстрел. И в ту же секунду портрет кользнул и с треском полетел вниз. Старая рама ударилась об пол и разбилась вместе с подрамником и полотном, шурша и ломаясь, полетело на пол за шкапик, стоявший под портретом. Это было так неожиданно и страшно, что Коржиков схватился за грудь, у Саблина лицо покрылось крупными каплями пота.

— Ну, чего вы! — сказал Коржиков, но голос его дрожал. — Пуля перебила веревку. Естественно портрет и упал. А рама разохлась. А ловко вышло... А теперь мы... мамашу!

Коржиков поставил карточку Маруси на шкапик на том месте, где был портрет Веры Константиновны и приготовился стрелять.

— У вас, поди, рука бы дрогнула, — сказал он. — Бы бы и в карточку не посмели выстрелить. Как же, мамаша?.. Мать!.. А для меня все одно... — и Коржиков выругался скверным мужицким словом.

— Мамаше я прямо в лоб! — сказал он.

Выстрел ударил, но пуля щелкнула на пол вершка выше карточки.

— Странно... — сказал Коржиков. — Никогда этого со мною не случалось, чтобы я на семь шагов промазал. В гривенник, знаете, царский, серебряный гривенник, попадал. А тут. Ну еще раз!

Но он промахнулся. Саблин сидел и думал. Как перевернули и перестроили они Россию! Выстрел в Петербургской квартире на улице Гоголя. Неизбежно появление дворника, полиции. „Кто стрелял, почему стрелял?“ — Саблин вспомнил, как после того, как Любовин выстрелил в него, немедленно по всему полку поднялась тревога. В квартире корнета Саблина стреляли... Событие!.. А тут гремит выстрел за выстрелом, рядом комнаты полны коммунистами и красноармейцами и хотя бы кто-либо полубобьтствовал в чем де-

ло... Когда же это началось? Когда же стало можно стрелять невозбранно в Петербурге? Да еще тогда, в начале войны, когда он стал вдруг Петроградом и зимою 1916 года на льду Невы у Петропавловской крепости учились стрелять из пулемета. Потом при временном правительстве, во время „великой безкровной“, когда благодушный князь Львов сидел с истеричным Керенским в Мариинском дворце, по всем улицам города гремели выстрелы. Убивали офицеров и гороховых. Просто так... Спросит кто-нибудь: — „Кажется стреляли?..“ „Да, офицера солдаты убили...“ В прежнее время так собаку убить на улице было нельзя. Ну, то было при проклятом царизме, под двуглавым орлом, а теперь — свобода. Стрельба в квартире — это тоже одно из завоеваний революции, как и растление малолетних девочек и убой людей, заменивший смертную казнь.

Выстрелы под ухом, частые, бешеные раздражали Саблина, но и развлекали его. Он страстно хотел, чтобы Коржиков не попал в портрет Маруси. Не может сын стрелять даже, и в карточку матери. Мистика? Пускай мистика! Но если он промахнется, значит прав я, а не он. Значит, Коржиков не кролик, родившийся из слизи, но в нем бессмертная душа. Порочная, мерзкая, но бессмертная и тогда между ним и мертвой уже Марусей тянутся невидимые нити и доходят до Саблина. Седьмая пуля ударила подле, а портрет не шелестнул.

— А, подлюга! — сказал Коржиков, — ну погоди же! Разделяюсь я иначе... Пойдите, папаша! Не торжествуйте. Ваша песня впереди! Гей?! — богатырски крикнул он, как умел кричать в свое время и Саблин, — гей! люди! товарищи! сюда!

Красноармейцы ввалились в комнату.

— Вам—пу! готово? — спросил Коржиков.

— Есть готово, товарища комиссал, — отвечал китаец. Желтое лицо его было безразлично.

— Как в Харкове? Снимешь! — сказал Коржиков.

Китаец закивал головой. Косые глаза его были без жизни. Плоское жирное лицо казалось маской.

— Тащите, товарищи, генерала на кухню. Отвяжите его, — приказал Коржиков.

Красноармейцы набросились на Саблина. Они были грязны и оборваны. От них воняло потом и испарениями грязного тела и Саблин, обезсиленный от всего того, что было, едва не лишился сознания. В глазах потемнело. Он неясно видел людей. Его волокли по комнатам и корридору на кухню. Там жарко горела плита. На ней в большой кастрюле клокотала и бурлила кипящая вода. Саблина подвели к самой плите. Кругом себя он видел жадных до зрелища лица. Красноармейцы смотрели то на Саблина, то на Коржикова и ожидали новой выходки, которая защекочет их канатные нервы.

Кухня была ярко освещена светом тройной лампы. В углу, забившись за подушки, сидела на кровати перепуганная Авдотья Марковна.

— Товарищи, — сказал Коржиков. — Что, похож я лицом на генерала?

— Похожи... Очень даже похожи... Вылитый портрет, — раздались голоса.

— Товарищи, это мой отец. Он надругался когда-то над дочерью рабочего и бросил ее. Я родился от нея и был им брошен. Это было тогда, когда на Руси был царь, и господам все было можно. Чего он достоин?

— Смерти! — загудели голоса.

Коржиков улыбнулся и, взяв Саблина за кисть руки, поднял его руку.

— Товарищи, — сказал он. — Вы видите какая рука у этого буржуя?

— Как у барышни, — сказал рыжий солдат, крепко державший Саблина, охватив его сзади за грудь.

— Этими руками, — говорил звонким голосом Коржиков, — его превосходительство лущили солдат по мордам во славу царя и капиталистов.

В дверях кухни толпились коммунисты-квартиранты и с ними две женщины. Они постепенно выширались толпой и входили в кухню.

— Товарищи, — продолжал Коржиков. — Этот генерал не пожелал признать рабоче-крестьянской власти и, переодетый, пробрался к Каледину и Корнилову. Я его поймал

и предоставил народному суду. Народный суд приговорил его к смерти.

— Правильно! — загудели голоса красноармейцев и коммунистов.

В кухне сразу стихло. Саблин услышал, как одна из женщин попотом спросила: — „Что же здесь его сейчас и порешат? Любопытно очень...”

Ни в одном лице, а Саблин их видел перед собою больше десятка, он не прочел жалости. На лице Авдотьи Марковны был только смертельный испуг и она тряслась мелкою лихорадочною дрожью. Одна из девиц, кутаясь в дорогой Танин оренбургский платок, подошла ближе. Саблин узнал ее. Это была Папа, горничная Тани. Она разъелась и ее красные щеки отекали. Она была босая и над коленами висели юбки с дорогими кружевами из Таниного приданого.

— Эти господа, — сказал в затихшей комнате Коржиков, — всегда носили белыя перчатки. Они гнушались нами, простым народом. Мы для них были, как нечистыя животныя.

В глазах у Саблина темнело. Он уже не видел толпы, не видел кухни. Подле него клокотала вода в кострюле и трещали дрова. Он ясно видел лицо Паши, с синяками под глазами, сытое, довольное, полное жгучаго женского любопытства. Он видел ее плечи, укутанныя серовато-коричневым платком, в котором он так часто видел худенькия плечи Тани.

— Мы снимем с генерала его белыя перчатки! — услышал он голос над собою. Но голос звучал глухо, и лица виднелись, как в тумане. Было, как в бане, когда напустят много пара, и голоса глухо слышны и, хотя говорят подле, слов не разобрать.

— Разденьте генерала! — приказал Коржиков. Красноармейцы стащили с Саблина пиджак, жилет и штаны и сняли башмаки и чулки. Саблин смутно понимал, что наступает конец, но сознание притупилось и тело потеряло чувствительность. Он стоял босыми ногами на полу и не чувствовал пола.

Толпа жильцов придвинулась ближе.

— Значит здесь порешат, — сказала Папа. Любопытство и жадность были в ее карих глазах.

— Вам—пу! — сказал Коржиков. — Орудуй?

Китаец подошел к толпе и протиснулся вплотную к Саблину. Он взял у красноармейца, державшего Саблина, его руку у локтя и сдвинул ее своими цепкими коричневыми пальцами. Потом он следовал то же и с другою рукою Саблина. Кровь перестала приливать к пальцам и они онемели.

Тогда китаец быстрым и резким движением опустил обе руки в кипящую воду.

Толпа ажнула. Лицо Саблина стало смертельно бледным, глаза широко раскрылись и крупные слезы потекли по его щекам. Рот полуоткрылся, но он не издал ни одного стога. Все глаза были устремлены на него. Только китаец деловито смотрел в кастрюлю.

А, буржуй! И не крикнул! — с ненавистью прошептал рыжий красноармеец. Молодежь смотрела прямо в лицо Саблину и тупо сопела.

— Не больно ему, что-ли? — сказал кто-то.

— Господи! Твоя воля! — прошептала Паша.

Было тихо. Слышно было дыхание людей, клокотала вода в кастрюле и белели в ней, отмирая руки Саблина. Ярко, по праздничному, горело электричество.

Коржиков с восхищением смотрел в лицо Саблина... „А умеют умирать эти проклятые буржуи“, — подумал он.

— Делжи так! — сказал озабоченно китаец, передавая руки Саблина рыжему красноармейцу. Он достал нож. На желтом грязном лице от жара и пара проступили капли пота. Медленно, сильно нажимая ножом, он прорезал кожу руки Саблина и стал обрезать ее кругом. Кровь стала капать из-под пальцев рыжего красноармейца и темными каплями падать в кипяток.

Стало еще тише. Саблин уже не видел окружающей его толпы солдат. Он стоял на ногах. В ушах звенело. Сумбурные мысли неслись в голове. Подбородок дрожал. Все усиливая воли Саблин напрягал для того, чтобы не застонать.

Обрезав кожу, китаец тщательно задрал ее и постепенно вынимая распаренную руку из кастрюли снимал с нее кожу.

Толпа придвинулась еще ближе и, затаив дыхание, смотрела на это, как на какой-то опыт.

— Господи! с живого человека кожу содрали! — прошептала Папа.

Она была так близко к Саблину, что Саблин ощущал запах душистой помады, густо наложенной на волосы. От этого запаха вязко становилось на зубах. Но ее лица и своих рук Саблин не видел.

— Пальцы-то! Пальцы... — прошептала Папа. — Тонкие какие! Кости видать.

— С ногтями сошла, — сказал кто-то рядом.

Как сквозь туман почувствовал Саблин жуткий холод в руках и острую боль. Их вынули из кипящей воды.

Потом чем то теплым, кожаным и мокрым ударили его по лицу и он услышал наглый смех Коржикова:

Эти перчатки, папаша, я надену, когда буду обнимать свою сестрицу.

Потом на сознание Саблина опустилась завеса.

## XLVI.

Очнулся Саблин от мороза. Его вели босого по снегу. Двое вели под руки, третий подталкивал сзади. Они шли по улице. Саблин видел над головою синее небо и редкие звезды. Большие каменные дома стояли темные. Под ногами резко белел снег. Перед самым лицом торчали его руки. Но Саблин не узнавал их. Черные пальцы были растопырены и горели жгучею болью.

Но странным образом, Саблину не казалось удивительным, что его вели под руки босого и в одном белье по снегу улицы ночью. Он шел по своей улице Гоголя. Самые странные и нелепые мысли были в голове.

„Так можно простудиться“, подумал он. „Без пальто зимою... Кожа на руках никогда не вырастет. Руки, вероятно, придется отнять... К чему?... Меня ведут на казнь. И простуда и руки ничто перед смертью“. И все-таки не мог представить себе смерти, то есть того, что ничего не будет...

По этой же улице увозили Веру. Был тогда солнечный день и пахло ельником, которым была посыпана торцовая мостовая... Он шел за гробом и перед самым лицом его был громадный венок с белыми лилиями и розами, присланный императрицей. На нем были белая и черная ленты. Ветер играл этими лентами. Рядом с ним шел Коля в черном мундире и каске с белым султаном, по другую сторону. Таня в траурном платье. Оба плакали...

Саблин не плакал...

По этой же улице он ехал на парных санях, с рысачами под сеткой, с Верой слушать цыган. Мороз славно щипал за нос и за уши.

Тогда и мороз и снег были другие.

Были люди. Где они? Из сотен родных и знакомых лиц мелькнул перед ним на минуту Пестрецов, и тот незнакомый и чужой. Боже! Боже! Вот и жизнь кончена. И никто не знает! Паша глядела любопытными глазами и ненавидела его... Та самая Паша, которая тогда, когда он первый раз приехал с войны домой смотрела на него глазами готовой отдаться женщины.

И муки его, и смерть ни к чему. Никто не узнает и не увидит.

Вероятно, у него был жар. Он не вполне отчетливо соображал, что с ним делалось и временами совсем не чувствовал острой боли в руках.

Вошли в ворота. Во дворе шумело два грузовых автомобиля и от их тяжелого ворчания было больно в ушах. Ноги подкашивались. По скользкой грязной лестнице спускались в какой то подвал. Мутно горели маленькия электрические лампочки, висевшия с потолка. Был отвратительный запах гниющей крови и лежали тела людей в грязном белье. Глухо стучали выстрелы.

Человек в коже подошел к Саблину.

— Поставьте, сказал он.

Саблина поставили у стенки. Он был так слаб, что прислонился спиною к кирпичам стены. Стена неприятно холодила сквозь белье. Моментами Саблин уже ничего не пони-

мал. Человек в черном, с фуражкой на затылке, подошел к нему.

Красная звезда была на смятой, сбитой на затылок фуражке. Движения его были вялые. Он точно устал от тяжелой работы и тяжело дышал. Глаза горели больным лихорадочным блеском. Молодое безусое лицо было бледно.

— Эге, как обработали, — сказал он... Белогвардеец!

Саблин отчетливо услышал это слово. Оно понравилось ему.

— Сами прикончите, товарищ? сказал человек в черном. Устал смертельно. Сегодня — никакой эмоции. Все офицеры. Никто не умолял, не ползал на коленях. Никто не боялся. Скучно.

Саблину стало приятно слышать это. „Никто не умолял... Не ползал на коленях... Офицеры”...

„И я офицер”, — подумал он, — поднял голову и вытянулся.

Лицо Маруси показалось перед ним. Но Саблин понял, что это лицо Коржикова и придал глазам своим холодное спокойное выражение.

— А умеют умирать Саблины! — сказал Коржиков и Саблин почувствовал холодное прикосновение дула револьвера к своему виску.

За стеною глухо урчали и шумели грузовые автомобили. Вся яркая жизнь сосредоточилась в маленьком полутемном сарае, где пахло гниющей кровью, сырые кирпичи холодили спину и босые ноги вязли в кровавой слизи. Кругом лежали трупы. У стен толпились красноармейцы с ружьями и два человека в кожаных костюмах похаживали хозяевами среди этого хаоса.

„Это Россия”! подумал Саблин.

Это была его последняя мысль.

На развете зимнего дня красноармейцы по наряду нагружали трупы казненных на грузовые автомобили во дворе чрезвычайной комиссии.

Они выносили за ноги и за головы обнаженных покойников и клали их в автомобиль. Кровь текла и падала на грязный снег.

— А ведь это генерал Саблин, — сказал рослый красивый солдат, принимая на платформу окровавленный труп в белье.

— А вы знали его? спросил подававший.

— Ну, еще бы! Сердечный барин! Хороший, храбрый офицер был. Он нас в атаку на германскую батарею водил.

— А ободрали как. Гляньте, товарищ, с рук кожа содрана.

— Да... Обработали. А жаль, душевный барин был!

— Нонче бар нет, — сказал сурово первый. Чего скулите. Не знаете, где находитесь. Сами еще к стенке попадете.

Солдат вздохнул и замолчал.

